



*Часть I*

# Я ВСПОМИНАЮ...

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ

С рождением человека рождается и его время. В детстве оно молодое и течет по-молодому — кажется быстрым на коротких расстояниях и длинным на больших. В старости время точно останавливается. Оно вялое. Прошлое в старости совсем близко, особенно детство. Вообще же из всех трех периодов человеческой жизни (детство и молодость, зрелые годы, старость) старость самый длинный период и самый нудный.

Воспоминания открывают нам окно в прошлое. Они не только сообщают нам сведения о прошлом, но дают нам и точки зрения современников событий, живое ощущение современников. Конечно, бывает и так, что мемуаристам изменяет память (мемуары без отдельных ошибок — крайняя редкость) или освещается прошлое чересчур субъективно. Но зато в очень большом числе случаев мемуаристы рассказывают то, что не получило и не могло получить отражения ни в каком другом виде исторических источников.

Я не считаю таким уж важным мое собственное развитие — развитие моих взглядов и мироощущения. Важен здесь не я своей собственной персоной, а как бы некоторое характерное явление.

Отношение к миру формируется мелочами и крупными явлениями. Их воздействие на человека известно, не вызывает сомнений, и самое важное — мелочи, из которых складывается работник, его мировосприятие, мироотношение. Об этих мелочах и случайностях жизни и пойдет речь в дальнейшем. Все мелочи должны учитываться, когда мы задумываемся над судьбой наших собственных детей и нашей молодежи в целом. Естественно, что в моей своего рода «автобиографии», представляемой сейчас вниманию читателя, доминируют положительные



*С. М. Лихачев, отец  
Д. С. Лихачева*



*В. С. Лихачева, мать  
Д. С. Лихачева*

воздействия, ибо отрицательные чаще забываются. Я лично, да и каждый человек крепче хранит память благодарную, чем память злую.

Интересы человека формируются главным образом в его детстве. Л. Н. Толстой пишет в «Моей жизни»: «Когда же я начался? Когда начал жить? ...Разве я не жил тогда, эти первые года, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить... Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и  $\frac{1}{100}$  того?»

Поэтому в этих своих воспоминаниях я уделю главное внимание детским и юношеским годам. Наблюдения над своими детскими и юношескими годами имеют некоторое общее значение. Хотя и последующие годы, связанные с работой в Пушкинском Доме Академии наук СССР, также важны.

Мой дед по отцу Михаил Михайлович Лихачев, потомственный почетный гражданин Петербурга и член Ремесленной управы, был старостой Владимирского собора и жил в доме на Владимирской площади с окнами на собор. На тот же собор смотрел из углового кабинета своей последней квартиры Достоевский. Но в год кончины Достоевского Михаил Михайлович не был еще церковным старостой. Старостой был будущий тестя его — Иван Степанович Семенов. Дело в том, что первая жена

моего деда и мать моего отца Прасковья Алексеевна умерла от чахотки (тогда не говорили «туберкулез»), когда отцу было лет пять, и похоронена на дорогом Новодевичьем кладбище, где не удалось похоронить Достоевского. Отец родился в 1876 году. Михаил Михайлович (или, как его звали у нас в семье, Михал Михалыч) женился на дочери церковного старосты Ивана Степановича Семенова — Александре Ивановне. Иван Степанович принимал участие в похоронах Достоевского. Отпевали его на дому священники из Владимирского собора, и делалось все необходимое для домашнего отпевания. Сохранился один документ, любопытный для нас — потомков Михаила Михайловича Лихачева. Документ этот приводит Игорь Волгин в рукописи книги «Последний год Достоевского».

И. Волгин пишет:

«Анна Григорьевна желала похоронить мужа по первому разряду. И все же похороны обошлись ей сравнительно недорого: большинство церковных треб совершилось безвозмездно. Более того: часть истраченной суммы была возвращена Анне Григорьевне, в чем удостоверяет весьма выразительный документ:

«Честь имею препроводить к Вам деньги 25 рубл. серебром, сегодня предоставленные мне за покров и подсвечники каким-то неизвестным мне гробовщиком, и при этом объяснить следующее: 29 числа утром лучший покров и подсвечники отправлены были из церкви в квартиру покойного Ф. М. Достоевского по распоряжению моему безвозмездно. Между тем неизвестный гробовщик, не живущий даже в пределах Владимирского прихода, взял с Вас деньги за церковные принадлежности самовольно, не имея на то ни права, ни резона, да и сколько он взял их, неизвестно. А потому как деньги взяты самовольно, я препровождаю Вам обратно и прошу принять уверения в глубоком уважении к памяти покойного.

*Церковный староста Владимирской церкви  
Иван Степанов Семенов\**

Дед мой по отцу, Михаил Михайлович Лихачев, не был купцом (звание «потомственного и почетного» дава-

\* См. в бумагах А. Г. Достоевской папку, озаглавленную «Материалы, относящиеся к погребению», ГБЛ, ф. 33, ІІ. 5.12, л. 22.



*Владимирский собор в Ленинграде*

лось обычно купцам), а состоял в Петербургской ремесленной управе. Был он главой артели.

Дочери моей Вере как-то сказали, что в архиве Зимнего дворца видели прошение моего деда о вспомоществовании его артели золотошвейного мастерства, работавшей для двора с 1792 года. Расшивали серебром и золотом, очевидно, мундиры.

Но в моем детстве артель деда была уже не золотошвейной.

Дедушку мы посещали на Рождество, на Пасху и в Михайлин день. Дедушка обычно лежал на диване в своем огромном кабинете, где потолок, помню, был в трещинах, и я всякий раз, входя к нему, боялся, что он обрушится и задавит дедушку. Выходил дедушка из своего кабинета редко: в семье его боялись до ужаса. Дочери не выходили из дома и никого не приглашали к себе. Только одна из моих теток, тетя Катя, вышла замуж. Другая, тетя Настя, умерла от чахотки, окончив с золотой медалью Педагогический институт. Я ее очень любил: она со мною хорошо играла. Третья, тетя Маня, окончила Медицинский институт и уехала под Новгород на Фарфоровый

завод: думаю, чтобы избавиться от гнетущей обстановки в семье. Дядя Вася стал служащим Государственного банка, а дядя Гаврюша метался: то уходил на Афон, то пропадал где-то на юге России. Тетя Вера жила после смерти дедушки в Удельной, отличалась фанатической набожностью и такой же добротой. Отдала в конце концов свою квартиру какой-то бедной многодетной семье, переселилась в сарай и умерла от голода и мороза во время блокады Ленинграда.

А отца дед хотел сделать своим преемником и обучать в коммерческом училище. Но отец поссорился с дедом, ушел из дома, поступил самостоятельно в реальное училище, жил уроками. Потом стал учиться в только что открывшемся Электротехническом институте (он помещался тогда на Новоисаакиевской улице в центре города), стал инженером, работал в Главном управлении почт и телеграфов. Он был красив, энергичен, одевался щеголем, был прекрасным организатором и известен как удивительный танцор. На танцах в Шуваловском яхт-клубе он и познакомился с моей матерью. Оба они получили приз на каком-то балу, а затем отец стал ежедневно гулять под окнами моей матери и в конце концов сделал предложение.

Мать была из купеческой среды. По отцу она была Коняева (говорили, что первоначально фамилия семьи была Канаевы и неправильно записана в паспорт кому-то в середине XIX в.). По матери она была из Поспевых, имевших старообрядческую молельню на Расстанной улице у Раскольничего моста близ Волкова кладбища: там жили старообрядцы федосеевского согласия. Поспевые традиции и были самыми сильными в нашей семье. У нас никогда не было собак в квартире, но зато мы все любили птиц. По семейным преданиям, мой дед из Поспевых ездил на парижскую выставку, где поражал великолепными русскими тройками. В конце концов и Поспевы и Коняевы стали единоверцами, крестились двумя перстами и ходили в единоверческую церковь — где теперь Музей Арктики и Антарктики.

Отец матери Семен Филиппович Коняев был одним из первых билльярдистов Петербурга, весельчак, добряк, певун, говорун, во всем азартный, легкий и обаятельный. Никого он не угнетал, проиграв все — мучился и стеснялся, но неизменно отыгрывался. В квартире постоянно

бывали гости, кто-то непременно гостил. Любил Некрасова, Никитина, Кольцова, прекрасно пел русские народные песни и городские романсы. По-старообрядчески сдержанная бабушка любила его беззаветно и все прощала.

Мои первые детские воспоминания восходят ко времени, когда я только учился говорить. Помню, как в кабинете отца на Офицерской сел на подоконник голубь. Я побежал сообщить об этом огромном событии родителям и никак не мог объяснить им — зачем я их зову в кабинет. Другое воспоминание. Мы стоим на огороде в Куоккале, и отец должен ехать в Петербург на службу. Но я не могу этого понять и спрашиваю его: «Ты едешь покупать?» (отец всегда что-то привозил из города), но слово «покупать» у меня никак не выговаривается и получается «покукать». Мне так хочется сказать правильно! Еще более раннее воспоминание. Мы живем еще на Английском проспекте (потом проспект Мак Лина, превратившегося теперь в обыкновенного русского Мákлина). Я с братом смотрю волшебный фонарь. Зрелице, от которого замирает душа. Какие яркие цвета! И мне особенно нравится одна картина: дети делают снежного Деда Мороза. Он тоже не может говорить. Эта мысль приходит мне в голову, и я его люблю, Деда Мороза, — он мой, мой. Я только не могу его обнять, как обнимаю любимого плюшевого и тоже молчащего медвежонка — Берчика. Мы читаем «Генерала Топтыгина» Некрасова, и нянька пьет Берчику генеральскую шинель. В этом генеральском чине Берчик воспитывал в блокаду и моих дочерей. Уже после войны генеральскую шинель на красной подкладке мои маленькие дочери перешли в женское пальто для одной из кукол. Уже не в генеральском чине он воспитывал потом мою внучку, неизменно молчщий и ласковый.

Мне было два или три года. Потом я получил в подарок немецкую книжку с очень яркими картинками. Была там сказка о «Счастливом Гансе». Одна из иллюстраций — сад, яблоня с крупными красными яблоками, ярко-синее небо. Так радостно было смотреть на эту картинку зимой, мечтая о лете. И еще воспоминание. Когда ночью выпадал первый снег, комната, где я просыпался, оказывалась ярко освещенной снизу, от снега на мостовой (мы жили на втором этаже). На светлом потол-

ке двигались тени прохожих. По потолку я знал — наступила зима с ее радостями. Так весело от любой перемены, время идет, и хочется, чтобы шло еще быстрее. И еще радостные впечатления от запахов. Один запах я до сих пор люблю: запах разогретого солнцем самшита. Он напоминает мне о крымском лете, о поляне, которую все называли «Батарейка», так как тут во время Крымской войны располагалась русская батарея, чтобы предотвратить высадку англо-французских войск в Алупке. И такой близкой казалась эта война, точно она была вчера, — всего 50 лет назад!

Одно из счастливейших воспоминаний моей жизни. Мама лежит на кушетке. Я забираюсь между ней и подушками, ложусь тоже, и мы вместе поем песни. Я еще не ходил в приготовительный класс.

Дети, в школу собирайтесь,  
Петушок пропел давно.  
Попроворней одевайтесь!  
Смотрит солнышко в окно.

Человек, и зверь, и пташка —  
Все берутся за дела,  
С ношей тащится букашка;  
За медком летит пчела.  
  
Ясно поле, весел луг;  
Лес проснулся и шумит;  
Дятел носом: тук да тук!  
Звонко иволга кричит.  
  
Рыбаки уж тащат сети;  
На лугу коса звенит...  
Помолясь, за книгу, дети!  
Бог лениться не велит.

Из-за последней фразы, верно, вывела эта детская песенка из русского быта. А знали ее все благодаря хрестоматии Ушинского «Родное слово».

А вот и другая песенка, которую мы пели:

Травка зеленеет,  
Солнышко блестит;  
Ласточка с весною  
В сени к нам летит.  
С нею солнце краше  
И весна милей...  
Прощебечь с дороги  
Нам привет скорей!  
Дам тебе я зерен;  
А ты песню спой,  
Что из стран далеких  
Принесла с собой.

Ясно помню, что слово «прощебечь» я пел как «прощебесь» и думал, что это кто-то кому-то говорит «прочь с дороги» — «прощебесь с дороги». Только уже на Соловках, вспоминая детство, я понял истинный смысл строки!

Жили мы так. Ежегодно осенью мы снимали квартиру где-нибудь около Мариинского театра. Там родители всегда имели два балетных абонемента. Достать абонементы было трудно, но нам помогали наши друзья — Гуляевы. Глава семьи Гуляевых играл на контрабасе в оркестре театра и поэтому мог доставать ложи на оба балетных абонемента. В балет я стал ходить с четырехлетнего возраста. Первое представление, на котором я был, — «Щелкунчик», и больше всего меня поразил снег, падавший на сцене, понравилась и елка. Потом я уже бывал вечерами и на взрослых спектаклях. Было у меня в театре и свое место: наша ложа, которую мы абонировали вместе с Гуляевыми, помещалась в третьем ярусе рядом с балконом. Тогда балкон имел места с железными, обтянутыми голубым плюшем поручнями. Между нашей ложей и первым местом балкона оставалось маленькое клиновидное местечко, где сидеть мог только ребенок, — это место и было моим. Балеты я помню прекрасно. Ряды дам с веерами, которыми обмахивались больше для того, чтобы заставлять играть бриллианты на глубоких декольте. Во время парадных балетных спек-

*Балерины Мариинского театра О. А. Спесивцева и М. Ф. Кшесинская*



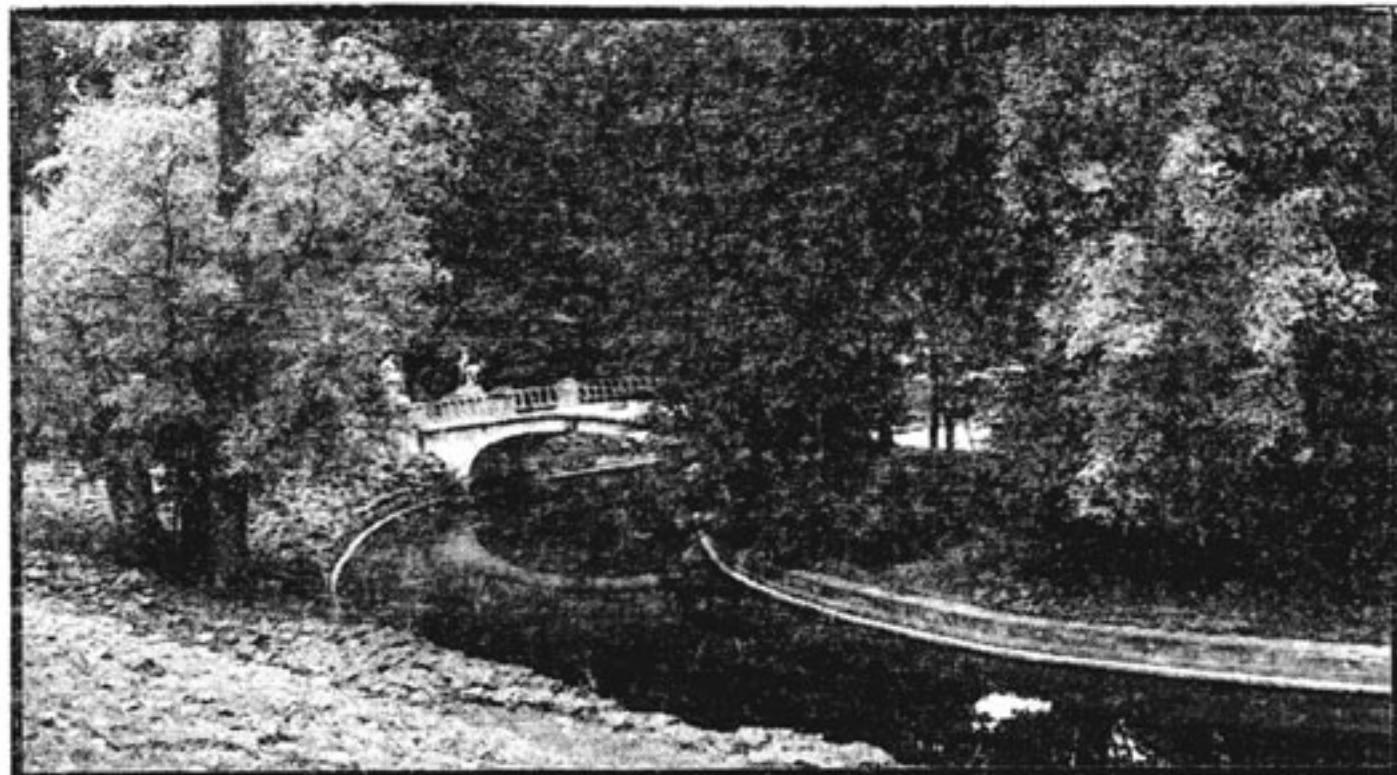


Домик Петра I

таклей свет только притушивался, и зал и сцена сливались в одно целое. Помню, как «вылетала» на сцену «коротконожка» Кшесинская в бриллиантах, сверкавших в тakt танцу. Какое это было великолепное и парадное зрелище! Но больше всего мои родители любили Спесивцеву и были снисходительны к Люком.

С тех пор балетная музыка Пуни и Минкуса, Чайковского и Глазунова неизменно поднимает мое настроение. «Дон Кихот», «Спящая» и «Лебединое» (именно так со-

Павловск





*Семья Лихачевых. Дочь Л. Д. Лихачева, жена З. А. Лихачева, Д. С. Лихачев*

крацала названия балетов и Ахматова), «Баядерка» и «Корсар» неразрывны в моем сознании с голубым залом Мариинского, входя в который я и до сих пор ощущаю душевный подъем и бодрость.

В моем кабинете, отделяя кабинет от холла, висит сейчас на стеклянной двери бархатный голубой занавес: он из старого Мариинского театра, куплен в комиссионном магазине еще тогда, когда мы жили в конце 40-х годов на Басковом переулке и шел ремонт зрительного зала театра после войны (бомба попала в фойе, и обивку и занавеси обновляли).

Когда я слушал разговоры о Мариусе Мариусовиче и Марии Мариусовне Петипа, мне казалось, что речь идет об обычновенных знакомых нашей семьи, которые только почему-то не приходят к нам в гости.

Раз в год поездка в Павловск «пошуршать листьями», раз в год посещение Домика Петра Великого перед началом учебного года (таков был петербургский обычай), прогулки на пароходах Финляндского пароходного общества, бульон в чашках с пирожком в ожидании поезда на элегантном Финляндском вокзале, встречи с Глазуновым в зале Дворянского собрания (теперь Филармония), с Мейерхольдом в поезде Финляндской железной дороги — этого было достаточно, чтобы стереть границы между городом и искусством...

По вечерам дома мы играли в любимое цифровое лото, называя бочоночки с цифрой непременно с прибаутками; играли в шашки; отец обсуждал прочитанное им накануне на ночь — произведения Лескова, исторические романы Всеволода Соловьева, романы Мамина-Сибиряка. Все это в широко доступных дешевых изданиях — приложениях к «Ниве».

Заметки и наблюдения. Л. 1989.

## КАТЕРИНУШКА ЗАКАТИЛАСЬ

Мою няню звали Катеринушка.

Единственное, что сохранилось от Катеринушки, — фотография, на которой она снята с моей бабушкой Марией Николаевной Коняевой. Фотография плохая, но характерная. Обе смеются до слез. Бабушка просто смеется, а Катеринушка и глаза закрыла, и видно, что слова вымолвить не может от смеха. Я знаю, отчего обе так смеются, но не скажу... Не надо!

Кто снял их во время приступа такого неудержимого смеха — не знаю. Фотография любительская, и в нашей семье она давно-давно. Катеринушка нянчила мою мать, нянчила моих братьев. Мы хотели, чтобы помогла она нам и с нашими «рунчиками» — Верочкой и Милочкой, но что-то ей помешало. Помех у нее, притом неожиданных, было немало.

Помню в детстве, что жила она на Тарасовом в одной со мной комнате, а было мне тогда лет шесть, и я открыл впервые, к своему удивлению, что у женщин есть ноги. Юбки носили такие длинные, что видна бывала только обувь. А тут по утрам за ширмой, когда Катеринушка вставала, появлялись две ноги в толстых чулках разного цвета (чулок все равно под юбкой не видно). Я смотрел на эти разноцветные чулки до щиколоток, появлявшиеся передо мной, и удивлялся.

Катеринушка была как родная и для нашей семьи и для семьи моей бабушки по матери. Чуть что нужно — и появлялась в семье Катеринушка: заболеет ли кто серьезно и нужно ухаживать, ожидается ли ребенок и нужно готовиться к его появлению на свет — шить свивальнички, подгузнички, волосяной (нежаркий) матрасик, чепчи-

ки и тому подобное; заневестилась ли девушка и нужно готовить ей приданое — во всех этих случаях появлялась Катеринушка с деревянным сундучком, устраивалась жить и как своя вела всю подготовку, рассказывала, говорила, шутила, в сумерки пела со всем семейством старинные песни, вспоминала про старое.

В доме с ней никогда не было скучно. И даже когда кто-нибудь умирал, она умела внести в дом тишину, благопристойность, порядок, тихую грусть. А в благополучные дни она играла и в семейные игры — с взрослыми и детьми — в лото цифровое (с бочоночками), причем, выкликая цифры, давала им шуточные названия, говорила приговорками и поговорками (а это не одно и то же — приговорок сейчас никто не знает, фольклористы их не собирали, а они часто бывали «заумными» и озорными в своей бессмысленности — хорошей, впрочем).

Кроме нашей семьи, семьи бабушки и ее детей (моих теток) были и другие семьи, для которых Катеринушка была родная и попав в которые не сидела сложа руки, вечно что-то делала, сама радовалась и радость эту и уют распространяла вокруг.

Легкий она была человек. Легкий во всех смыслах, и на подъем тоже. Соберется Катеринушка в баню и не возвращается. Сундучок ее стоит, а ее нет. И не очень о ней беспокоится, так как знают ее обычай — придет Катеринушка. Мать спрашивает свою матушку (а мою бабушку): «Где Катеринушка?», а бабушка отвечает: «Катеринушка закатилась». Такой был термин для ее внезапных уходов. Через несколько месяцев, через год Катеринушка так же внезапно появляется, как перед тем исчезла. «Где ж ты была?» — «Да у Марьи Иванны! Встретила в бане Марью Иванну, а у той дочь заневестилась: пригласили приданое справить!» — «А где же Марья Иванна живет?» — «Да в Шлюшине!» (Так в Питере называли Шлиссельбург — от старого шведского «Слюсенбурх».) «Ну а теперь?» — «Да к вам. Свадьбу третьего дня спровоцировали».

Вспоминала она и про мою маму разные смешные истории. Пошли они вместе в цирк. Мама маленькой девочкой была с Катеринушкой в цирке в первый раз и пришла в такой восторг, что вцепилась Катеринушке в шляпу да вместе с вуалькой содрала с нее...

Катеринушка только при своих ходила в платке, а на

улице, да еще в цирке бывала в шляпке. И в Александринский театр она со всей семьей дедушки и бабушки ходила. Помню, рассказывала, как в антрактах в аванложу приносили кипящий самовар и вся бабушкина семья пила чай. Таков был обычай в «купеческом» Александринском театре, где и пьесы подбирались на вкус купеческий и мещанский (потому-то «Чайка» там и провалилась — ждали ведь фарса, тем более что и Чехов в этой среде был известен как юморист).

Так вот о шляпке. Шляпка не была случайностью. Катеринушка была вдовой мастера, погибшего во время какой-то заводской аварии. Она гордилась своим мужем, гордилась, что его ценили. У нее был и собственный дом в Усть-Ижоре. Обращен он был окнами на Неву, то есть на север, и так она любила свою Усть-Ижору и дом, что, бывало, рассказывала: «В мой дом солнышко два раза в день заглядывает — утром раненько поздоровается, а вечером к закату попрощается». Если учесть, что летом восход и закат сдвинуты к северу, то это, наверное, так и было. Но не зимой.

Никто не знал ее фамилии. Я у мамы спрашивал — не знала, но в паспорте у Катеринушки стояло отчество — Иоакимовна, и очень она не любила, если кто-нибудь называл ее Акимовной. Даже с обидой об этом рассказывала.

Как определить профессию этой милой вечной труженицы, приносившей людям столько добра (счастье входило вместе с ней в семью)? Я думаю, назвать бы ее следовало «домашней портнихой». Профессия эта совершенно сейчас исчезла, а когда-то она была распространенной. Домашняя портниха поселялась в доме и делала работу на несколько лет: перекраивала, перешивала, ставила заплатки, шила и белье, и пиджак хозяину — на все руки мастер. Появится такая домашняя портниха в доме, и начинают перебирать все тряпье и всей семьей советоваться, как и что перешить, что бросить, что татарину отдать (татары-тряпичники ходили по дворам, громко кричали «халат-халат» и в доме всякую ненадобность покупали за гроши).

Умерла она так же, как и жила: никому не доставив хлопот. Закатилась Катеринушка в 1941 году слабой одноглазой старухой. Услыхала она, что немцы подходят к любимой ее Усть-Ижоре, встала у моей тети Любы с

места (жила тетя Люба на улице Гоголя) да и пошла в Усть-Ижору к своему дому. Дойти она не смогла и где-то погибла, верно по дороге, так как немцы уже подошли к Неве. Привыкла она всю жизнь помогать тем, кто нуждался в ее помощи, а тут несчастье с ее Усть-Ижорой... Закатилась Катеринушка последний раз в жизни.

Земля родная. М. 1983.

## О ПЕТЕРБУРГЕ МОЕГО ДЕТСТВА

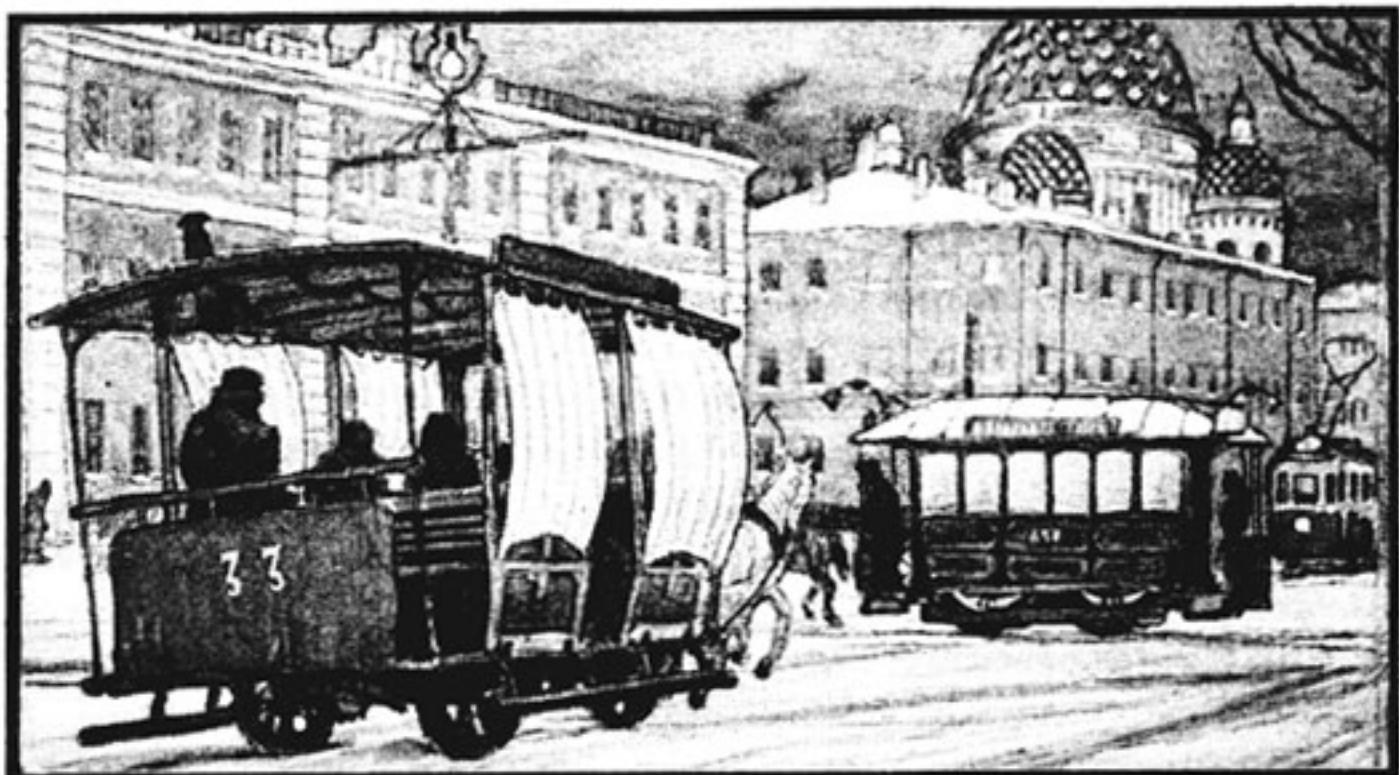
Петербург-Ленинград — город трагической красоты, единственный в мире. Если этого не понимать — нельзя полюбить Ленинград. Петропавловская крепость — символ трагедий, Зимний дворец на другом берегу — символ плененной красоты.

Петербург и Ленинград — это совсем разные города. Не во всем, конечно. Кое в чем они «смотрятся друг в друга». В Петербурге прозревался Ленинград, а в Ленинграде мелькает Петербург его архитектуры. Но сходства только подчеркивают различия.

Первые впечатления детства: барки, барки, барки. Барки заполняют Неву, рукава Невы, каналы. Барки с дровами, с кирпичом. Катали выгружают барки тачками. Быстро, быстро катят их по железным полосам, вка-

*Канал Грибоедова*





*Петербург. Рисунок М. В. Добужинского*

тывают снизу на берег. Во многих местах каналов решетки раскрыты, даже сняты. Кирпичи увозят сразу, а дрова лежат сложенными на набережных, откуда их грузят на телеги и развозят по домам. По городу расположены на каналах и на Невках дровяные биржи. Здесь в любое время года, а особенно осенью, когда это необходимо, можно купить дрова. Особенно березовые, жаркие. На Лебяжьей канавке у Летнего сада пристают большие лодки с глиняной посудой — горшками, тарелками, кружками, — а бывают и игрушки, особенно любимы глиняные свистульки. Иногда продают и деревянные ложки. Все это привозят из района Онеги. Лодки и барки чуть-чуть покачиваются. Нева течет, покачиваясь мачтами шхун, боками барж, яликами, перевозящими через Неву за копейку, и буксирами, кланяющимися мостам трубами (под мостом трубы полагалось наклонять к корме). Есть места, где качается целый строй, целый лес: это мачты шхун — у Крестовского моста на Большой Невке, у Тучкова моста на Малой Неве.

Есть что-то зыбкое в пространстве всего города. Зыбка поездка в пролетке или в извозчичьих санках. Зыбки переезды через Неву на яликах (от Университета на противоположную сторону к Адмиралтейству). На булыжной мостовой потряхивает. При въезде на торцовую мостовую (а торцы были по «царскому» пути от Зимнего к Царскосельскому вокзалу, на Невском, обеих Морских,

кусками у богатых особняков) потряхивание кончается, ехать гладко, пропадает шум мостовой.

Барки, ялики, шхуны, буксиры снуют по Неве. По каналам барки проталкивают шестами. Интересно наблюдать, как два здоровых молодца в лаптях (они упористее и, конечно, дешевле сапог) идут по широким бортам барки от носа к корме, упираясь плечом в шест с короткой перекладинкой для упора, и двигают целую машину груженной дровами или кирпичом барки, а потом идут от кормы к носу, волоча за собой шест по воде.

Архитектура заслонена. Не видно реки и каналов. Не видно фасадов за вывесками. Казенные дома в основном темно-красного цвета. Стекла окон поблескивают среди красных дворцовых стен: окна мылись хорошо, и было много зеркальных окон и витрин, полопавшихся впоследствии во время осады Ленинграда. Темно-красный Зимний, темно-красный Генеральный штаб и здание Штаба гвардейских войск. Сенат и Синод красные. Сотни других домов красные — казарм, складов и различных «присутственных мест». Стены Литовского замка красные. Эта страшная пересыльная тюрьма — одного цвета с дворцом. Только Адмиралтейство не подчиняется, сохраняет самостоятельность — оно желтое с белым. Остальные дома также выкрашены добротно, но в темные тона. Трамвайные провода боятся нарушить «право

*Обводной канал*

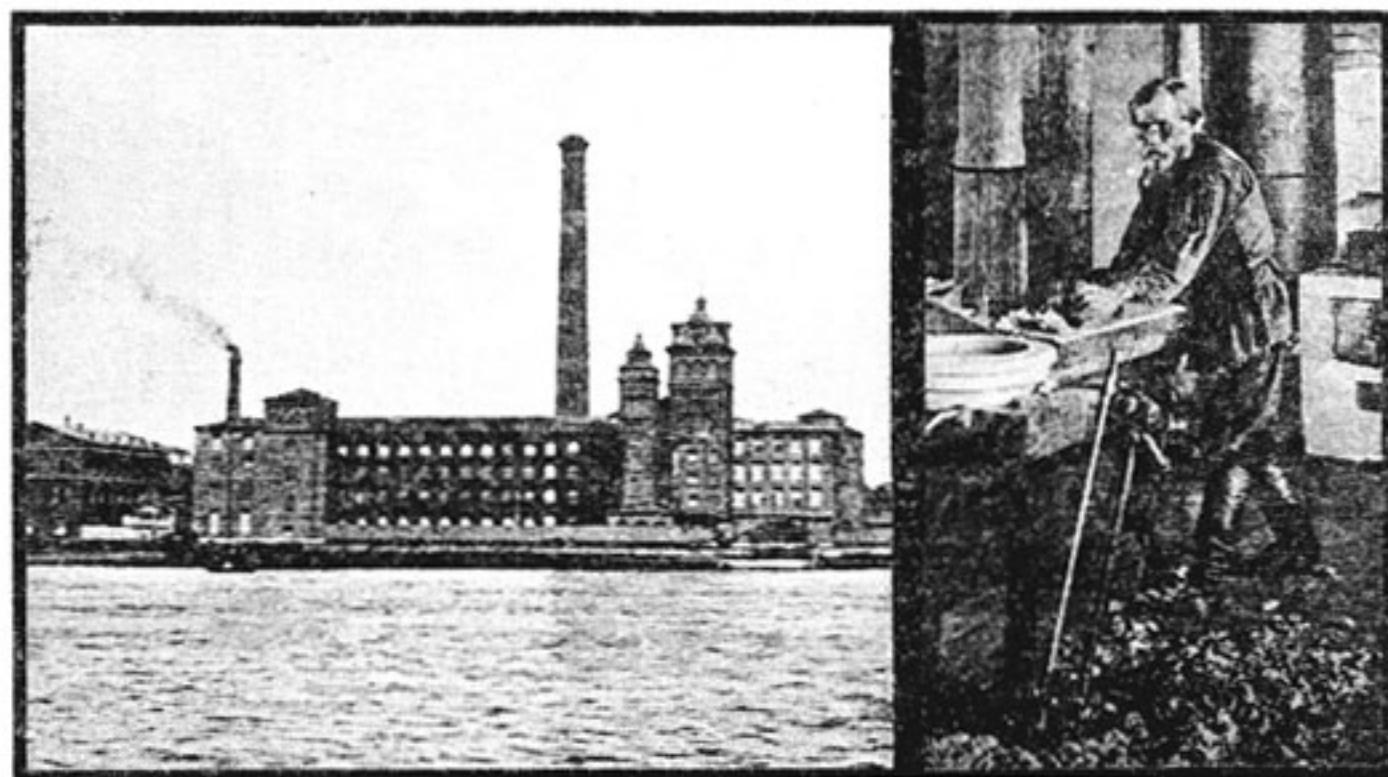


собственности»: они не крепятся к стенам домов, как сейчас, а опираются на трамвайные столбы, заслоняющие улицы. Что улицы! — Невский проспект. Его не видно из-за трамвайных столбов и вывесок. Среди вывесок можно найти и красивые, они карабкаются по этажам, достигают третьего — повсюду в центре: на Литейном, на Владимирском. Только площади не имеют вывесок, и от этого они еще огромнее и пустыннее. А в небольших улицах висят над тротуарами золотые булочные крендели, золотые головы быков, гигантские пенсне и пр. Редко, но висят сапог, ножницы. Все они огромные. Это тоже вывески. Тротуары перегорожены подъездами: козырьками, держащимися на металлических столбиках, опирающихся на противоположный от дома край тротуара. По краю тротуара нестройные ряды тумб. У очень многих старых зданий встречаются вместо тумб вкопанные старинные пушки. Тумбы и пушки обергают прохожих от наезда телег и пролеток. Но все это мешает видеть улицу, как и керосиновые фонари единого образца с перекладиной, к которой прислоняют фонарщики свои легкие лесенки, чтобы зажечь, потушить, снова зажечь, потушить, заправить, почистить.

В частные праздники — церковные и «царские» — вывешиваются трехцветные флаги. На Большой и Малой Морских трехцветные флаги свешиваются на перетянутых через улицы от дома к противоположному канатах.

*Петербург*

*В столярной мастерской*



Но зато какие красивые первые этажи главных улиц. Парадные двери содержатся в чистоте. Их полируют. У них красивые начищенные медные ручки (в Ленинграде их снимут в 20-е годы в порядке сбора меди для Волховстроя). Стекла всегда чистые. Тротуары чисто метут. Они украшены зелеными кадками или ведрами под водосточными трубами, чтобы дождевая вода меньше выплескивалась на тротуары. Дворники в белых передниках выливают из них воду на мостовую. Из парадных изредка появляются швейцары в синих с золотом ливреях — передохнуть воздухом. Они не только в дворцовых подъездах — но и в подъездах многих доходных домов. Витрины магазинов сверкают чистотой и очень интересны — особенно для детей. Дети оттягивают ведущих их за руки мам и требуют посмотреть в игрушечных магазинах оловянных солдатиков, паровозики с прицепленными вагончиками, бегущие по рельсам. Особенно интересен магазин Дойникова в Гостином дворе на Невском, славящийся большим выбором солдатиков. В окнах аптек выставлены декоративные стеклянные вазы, наполненные цветными жидкостями: зелеными, синими, желтыми, красными. По вечерам за ними зажигают лампы. Аптеки видны издалека.

Особенно много дорогих магазинов по солнечной стороне Невского («солнечная сторона») — это почти офи-

Невский проспект



Продавец корзинок



циальное название четных домов Невского). Запомнились витрины магазина с поддельными бриллиантами — Тэта. Посередине витрины устройство с вечно крутящимися лампочками: "бриллианты" сверкают, переливаются.

Асфальт — это теперь, а раньше — тротуары из известняка, а мостовые булыжные. Известняковые плиты добывались с большим трудом, но зато выглядели красиво. Еще красивее огромные гранитные плиты на Невском. Они остались на Аничковом мосту. Многие гранитные плиты перенесены сейчас к Исаакию. На окраинах бывали тротуары из досок. Вне Петербурга, в провинции, под такими деревянными тротуарами скрывались канавы, и, если доски изнашивались, можно было угодить в канаву, но в Петербурге даже на окраинах тротуары с канавами не делались. Мостовые по большей части были булыжные, их надо было держать в порядке. Летом приезжали крестьяне подрабатывать починкой булыжных мостовых и сооружением новых. Надо было подготовить грунт из песка, утрамбовать его вручную, а потом вколачивать тяжелыми молотками каждый булыжник. Мостовщики работали сидя и обматывали себе ноги и левую руку тряпками, случайно можно было попасть себе молотком по пальцам или по ногам. Смотреть на этих рабочих без жалости было невозможно. А ведь как красиво подбирали они булыжник к булыжнику, плоской стороной кверху. Это была работа на совесть, работа художников в своем деле. В Петербурге булыжные мостовые были особенно красивы: из разноцветных обкатанных гранитных камней. Особенно нравились мне булыжники после дождя или поливки. О торцевых мостовых писалось много — в них также была своя красота и удобство. Но в наводнение 1824 года они погубили многих: всплыли и потащили за собой прохожих.

Цвет конок и трамваев легко забудется. Цветной фотографии еще не было, а на картинах они не так часто изображались: поди ищи! Конки были довольно мрачные по цвету: темно-сине-серые с серыми деталями. А трамваи очень оживляли город: они были покрашены в красный и желтый цвет, и краски были всегда яркие и свежие.

Сперва трамваи ходили по одному, прицепных не было. Оба конца не различались, и на обоих было установлено управление. Доехав до конечной станции, кондуктор сходил с передней площадки, снимал снаружи большой

белый круг, означавший перед, и переносил его назад; там ставил. Во время первой мировой войны понадобились прицепные вагоны: население увеличилось. Вагоны конки переделывались: снимались империалы и перекрашивались в желтый и красный цвет, и их прицепляли к моторным вагонам, вскоре исчезли и белые круги для обозначения передней части: перед был виден и так. Но ехать в прицепном вагоне было неприятно: в нем тряслось, скорость для них была необычной, и плохо закрепленные стекла отчаянно дребезжали.

Кстати, площадки трамваев были открытыми: летом ехать — удовольствие, зимой — холодно. Но все военные и революционные годы пассажиры набивались в вагоны, висели на ступеньках, держась за поручни, висели на «колбасе» и иногда разбивались о трамвайные столбы.

Звуки Петербурга! Конечно, в первую очередь вспоминаешь цоканье копыт по булыжной мостовой. Ведь и Пушкин писал о громе Медного Всадника «по потрясенной мостовой». Но цоканье извозчичьих лошадей было кокетливо-нежным. Этому цоканью мастерски умели подражать мальчишки, играя в лошадки и щелкая языком. Игра в лошадки была любимой игрой детей. Цоканье копыт и сейчас передают кинематографисты, но вряд ли они знают, что звуки цоканья были различными в дождь или в сухую погоду. Помню, как с дачи, из Куоккалы, мы возвращались осенью в город и площадь перед Финляндским вокзалом была наполнена этим «мокрым цоканьем» — дождевым. А потом — мягкий, еле слышный звук катящихся колес по торцам и глуховатый «вкусный» топот копыт по ним же — там, за Литейным мостом. И еще покрикивание извозчиков на переходящих улицу: «Э-эп!» Редко кричали «берегись» (отсюда — «брьсь»); только когда лихач «с форсом» обгонял извозчичью пролетку. Ломовые, размахивая концом вожжей, угрожали лошадям (погоняли их) с каким-то всасывающим звуком. Кричали газетчики, выкрикивали названия газет, а во время первой мировой войны и что-нибудь из последних новостей. Приглашающие купить выкрики («пицци», «яблоки», «папирсы») появились только в период нэпа.

На Неве гудели пароходы, но характерных для Волги криков в рупоры в Петербурге не было: очевидно, было запрещено. По Фонтанке ходили маленькие пароходики

Финляндского пароходного общества с открытыми машинами. Виден был кочегар. Тут и свист, и шипение пара, и команды капитана.

Одним из самых «типичных» уличных звуков Петербурга перед первой мировой войной было треньканье трамваев. Я различал четыре трамвайных звонка. Первый звонок — перед тем как трамвай тронуться. Кондуктор (до войны — всегда мужчина в форме) на остановках выходил с задней площадки, пропускал всех садящихся вперед, сам садился последним и, когда становился на ступеньку вагона, дергал за веревку, которая шла от входа к звонку у вагоновожатого. Получив такой сигнал, вагоновожатый трогал вагон. Эта веревка шла вдоль всего вагона по металлической палке, к ней были прикреплены кожаные петли, за которые могли держаться стоящие в трамвае. В любом месте трамвая кондуктор мог позвонить вагоновожатому. И это был второй тип звонка. Вагоновожатый предупреждал неосторожных прохожих с помощью еще одного звонка, действовавшего от ножной педали. Здесь вагоновожатый звонил иногда довольно настойчиво, и звук этот часто слышался на улицах с трамвайными линиями. Потом появились и электрические звонки. Довольно долго ножные недальные звонки действовали одновременно с ручными электрическими. Грудь кондуктора была украшена многими рулонами с разноцветными билетами. Билеты разных цветов продавались по «станциям» — на участки пути, и, кроме того, были белые пересадочные билеты, с которыми можно было пересесть в определенных местах на другой маршрут. Все эти маршруты указаны в старых путеводителях по Петербургу. Время от времени, когда кончался тот или иной отрезок пути и надо было брать новый билет, кондуктор громко возглашал на весь вагон: «Желтым билетам станция!», или «Зеленым билетам станция!», или «Красным билетам станция!». Интонации этих «возглашений» запомнились мне на всю жизнь: в школу я ездил на трамваях.

Очень часто были слышны на улицах звуки военных оркестров. То полк шел по праздникам и воскресным дням в церковь, то хоронили генерала; ежедневно шли на развод караула к Зимнему преображенцы или семеновцы. На звуки оркестра сбегались все мальчишки: потребность в музыке была большая. Особенно интересно было, когда

выделенные для похорон войсковые подразделения возвращались с кладбища: тогда полагалось играть веселую музыку. С веселыми маршами шли и в церкви, но, разумеется, не в Великий пост. Были и «тихие звуки»: звенели шпоры военных. За звоном своих шпор офицеры следили. Шпоры часто делались серебряными. На Невском и на прилегающих улицах (особенно у Гостиного на углу Невского и Садовой) торговцы продавали детям надутые легким газом взлетавшие шарики: красные, зеленые, синие, желтые и самые большие — белые с нарисованными на них петухами. Около этих продавцов всегда царило оживление. Продавцов было издали видно по клубившимся над их головой связкам веселых шариков.

В моем детстве на улицах уже не продавали сбитень, но отец помнил и любил рассказывать о сбитне. Он хорошо подкреплял прохожих, особенно в мороз. Сбитеник закутывал самовар в особый ватник, чтобы не остыл, и носил его на спине, а кран открывал из-под левого локтя. Сбитень — это смесь кипятка с медом и различными специями, чаще всего с корицей. По словам отца, сбитенщики в старину кричали: «Сбитню горячего!» Я запомнил со слов отца: не «сбитня», а именно «сбитню».

А по углам с окраин города, особенно с Выборгской стороны, доносились фабричные гудки. Каждый завод можно было узнать по гудку. Гудели три раза, созывая на работу, — не у всех были часы. Эти гудки были тревожными, призывными...

Зимой — самые элегантные сани с вороными конями под темной сеткой, чтобы при быстрой езде в седоков не летели комья снега из-под копыт. Простые извозчики сани были тоже красивыми.

Как ребенка, меня всегда тянуло заглянуть за фасады домов: что там? Но об этом я больше узнавал из рассказов взрослых. Магазины, впрочем, помню — те, в которые заходил с матерью: «колониальные товары» (кофе, чай, корица, еще что-то), «бакалея», «соловьевский магазин» (ткани, нитки), «булочные», «кондитерские», «писчебумажные». Слова «продукты» в нынешнем значении не было («продукты» — только продукция чего-то; «продукты сельского хозяйства» стали говорить на моей памяти). На рынок ходили за «провизией». Продавцы назывались

приказчиками. Помню дисциплину этих приказчиков в магазине «Масло». Стояли они на шаг назад от прилавка, заложив руки за спину. При появлении покупателя приказчик делал шаг ему навстречу и опускал руки. Это невольно заставляло покупателя к нему подойти. Масло и сыр давали пробовать на кончике длинного ножа.

Первые кинематографы. Совсем забыли, что на узкой Офицерской против нашего дома был кинематограф «Мираж». Он был сделан из нескольких магазинов, соединенных вместе. Но по субботам мы всей семьей ездили на Невский в кинематограф «Солейль». Он помещался в том же доме, что и «Пассаж», — около Садовой. Этот кинематограф был сделан из нескольких квартир, соединенных вместе. Кроме основной картины (помню «Сто дней Наполеона», «Гибель «Титаника» — это документальный фильм, оператор снимал всю пароходную жизнь и продолжал снимать кораблекрушение до того момента, когда погас свет, а потом снимал даже в спасательной лодке) обязательно давалась комическая (с участием Макса Линдера, Мациста и др.) и «видовая». Последняя раскрашивалась часто от руки — каждый кадр, и непременно в яркие цвета: красный, зеленый — для зелени, синий — для неба. Однажды были на Невском в «Паризиане» или «Пикадилли» — не помню. Поразили камердинеры в ливреях и чуть ли не в париках.

Родители часто брали меня с собой в Мариинский театр. У родителей было два балетных абонемента в ложу третьего яруса. Спектакли были праздниками. На праздничность они и были рассчитаны. Снобы офицеры приходили, как правило, ко второму акту. В «Дон Кихоте» пропускали пролог. В антрактах красовались у барьера оркестра, а после спектакля офицеры стояли у артистического выхода перед подъездом, рассматривая дам.

На Страстной и к пасхальной заутрене ходили на Почтамтскую улицу в домовую церковь Главного управления почт и телеграфов, где служил отец столоначальником. Пальто снимали в гардеробе, поднимались на второй этаж. Паркетные полы в церкви были хорошо натерты. Электричество спрятано за карнизы, и лампады горели электрические, что некоторые ортодоксально настроенные прихожане осуждали. Но отец гордился этим нововведением — это был его проект. Когда входила семья (наша или другая), служитель сразу нес венские

стулья и ставил позади, чтобы в дозволенных для того местах службы можно было присесть отдохнуть. Позже я узнал, что в ту же церковь ходила и семья Набоковых. Значит, мы встречались с Владимиром. Но он был старше меня.

Неравенство жителей Петербурга бросалось в глаза. Когда возводились дома, строители носили кирпичи на спине, быстро поднимаясь по доскам лесов с набитыми на доски планками вместо ступеней. По черным лестницам доходных домов дворники носили дрова тоже на спине, ловко забирая дрова со специальных козел, стоявших во дворе. Во двор приходили старьевщики-татары; кричали «халат-халат!». Заходили шарманщики, и однажды я видел «петрушку», удивляясь ненатуральному голосу самого Петрушки (петрушечник вставлял себе в рот пищик, изменявший его голос). Ширма у петрушечника поднималась от пояса и закрывала его со всех сторон: он как бы отсутствовал.

Ходили мы смотреть столетних гренадер из Золотой роты у памятника Николаю Первому. Это были солдаты, служившие еще Николаю Первому. Их, оставшихся, собирали со всей России и привозили в Петербург. Ходили мы и на разводы караула к Зимнему. Вся церемония происходила во дворе на специальной платформе, мы ее не видели. Но на развод семеновцы и преображенцы шли с музыкой, игравшей бравурные марши — оглушительно под аркой Генерального штаба, отзывавшейся эхом.

Петербург был городом трагической и скрытой (во дворцах и за вывесками) красоты. Зимний — сплошь темный ночами (государь с семьей жил в Александровском дворце в Царском Селе). Веселое рококо дворца теряло свою кокетливость, было тяжелым и мрачным. Напротив дворца утопала во тьме крепость-тюрьма. Взметнувшийся шпиль собора — и меч и флюгер одновременно — кому-то угрожал. Вьющиеся среди регулярно распланированных улиц каналы нарушили государственный порядок города. В Александровском саду против Адмиралтейства существовали разные развлечения для детей (зимой катания на оленях, летом — зверинец и пруды с золотыми рыбками) среди дворцов, словно под присмотром бонн и гувернанток. Марсово поле пылило в глаза при малейшем ветре, а Михайловский замок словно прищуривался одним среди многих единственным

замурованным окном комнаты, где был задушен император Павел.

О старом Петербурге вспоминает В. Вейдле в книге «Зимнее солнце». Дом, принадлежавший Вейдле, находился на Большой Морской около арки Генерального штаба. Если идти по левой стороне от арки Генерального штаба, то первый дом № 6 — гостиница «Франция» с рестораном «Малый Ярославец», а дальше французская булочная с круассанами и шоссонами — такими же, как в Париже. Французские булки из Испании — там они тоже назывались «французскими», но во Франции не пеклись. Затем ювелир Болин со швейцаром. На углу табачная лавочка. Тут же посыльные в красных фуражках. Напротив дом мебельной фабрики Тонет — фабрика венских стульев, легких и удобных.

Перейдя Невский — закусочная Смурова. В бельэтаже — Английский магазин, где продавалось английское темно-буровое глицериновое мыло. На Невском напротив — «Цветы из Ниццы», даже зимой. Наискось от сигар — «Дациаро: поставщик всего нужного для художеств». Над ним — «Генрих Циммерман» (для музыкантов). Посреди-не, возле окон второго этажа над улицей на чугунном укрепе «Павел Буре» — часы, показывавшие точное время.

Далее по Большой Морской — ресторан Кюба с тяжелыми кремовыми гардинами. Это, по воспоминаниям Юлии Николаевны Данзас, единственный ресторан такого хорошего тона, что туда можно было зайти приличной даме без сопровождения кавалера. Затем магазин Мюллера — лучших сундуков и саквояжей. В 1916 году драгоценности Эрмитажа решили эвакуировать в чемоданах этой фирмы. Хранитель — барон Фелькерзам.

На гранитной облицовке по Большой Морской было золотыми буквами начертано «Fabergé». Напротив — важный портной Калина. Далее Большая Морская встречалась с Мойкой Реформатской киркой (перестроена ныне в Дом связи).

М. Добужинский пишет в своих «Воспоминаниях», что его жена «была одета с «петербургским» вкусом в темно-синее, носила маленькую изящную шляпку с вуалькой в черных мушках и белые перчатки». «Часто на улицах я видел, — продолжает Добужинский, — как она обращает на себя внимание, выделяясь среди старомодных немок, как „иностранка“». О петербургских элегант-

ных дамах пишет и Вадим Андреев в своих воспоминаниях «Отец». Рассказывал мне о них с восхищением и известный библиограф А. Г. Фомин. Он особенно подчеркивал изящество походки. Когда я был в Белграде в 1964 году, профессор Радован Лалич указал мне на одну пожилую даму: «Сразу видна русская из Петербурга». Почему «сразу»? Держалась очень прямо и имела прекрасную легкую походку.

Ночная жизнь была типична для петербургской интеллигенции: петербургский *«postambulisme»* («лунализм»). «Монд» ложился не ранее трех часов ночи. Редко поднимались раньше 11 утра. От этого процветали ночные кабачки, и «Бродячая собака» в особенности. Здесь было *«le rendez-vous des distingués»* («встреча избранных»).

Декоративное искусство СССР. 1987. № 1.

## ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТОПОГРАФИИ ПЕТЕРБУРГА ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ДВАДЦАТОГО ВЕКА<sup>1</sup>

Как известно, старые города имели социальную и этническую дифференциацию отдельных районов. В одних районах жила по преимуществу аристократия (в дореволюционном Петербурге аристократическим районом был, например, район Сергиевской и Фурштадтской), в других — мелкое чиновничество (район Коломны), в третьих — рабочие (Выборгская сторона и другие районы заводов, фабрик и окраины). Довольно компактно жили в Петербурге немцы (Васильевский остров: см. роман Н. Лескова «Островитяне»; немцы населяли отдельные пригороды — Гражданку, район Старого Петергофа, район в Царском Селе и пр.). Этими же чертами отличались и дачные местности (например, на Сиверской жило богатое купечество; квалифицированные мастеровые жили на даче

<sup>1</sup> В составлении этих заметок большую помощь оказал Е. Ф. Ковтун, которому приношу глубокую благодарность. Им, в частности, сообщены мне основные факты относительно «Дома Мятлевых» и других творческих центров Петербурга, связанных с художественной жизнью.

с дешевым пароходным сообщением — по Неве, а также на Лахте, в Келломяках около Сестрорецкой узкоколейной железной дороги и пр.). Были районы книжных магазинов и «холодных букинистов» (район Литейного проспекта, где со времен Н. А. Некрасова располагались и редакции журналов), кинематографов (Большой проспект Петербургской стороны) и др.

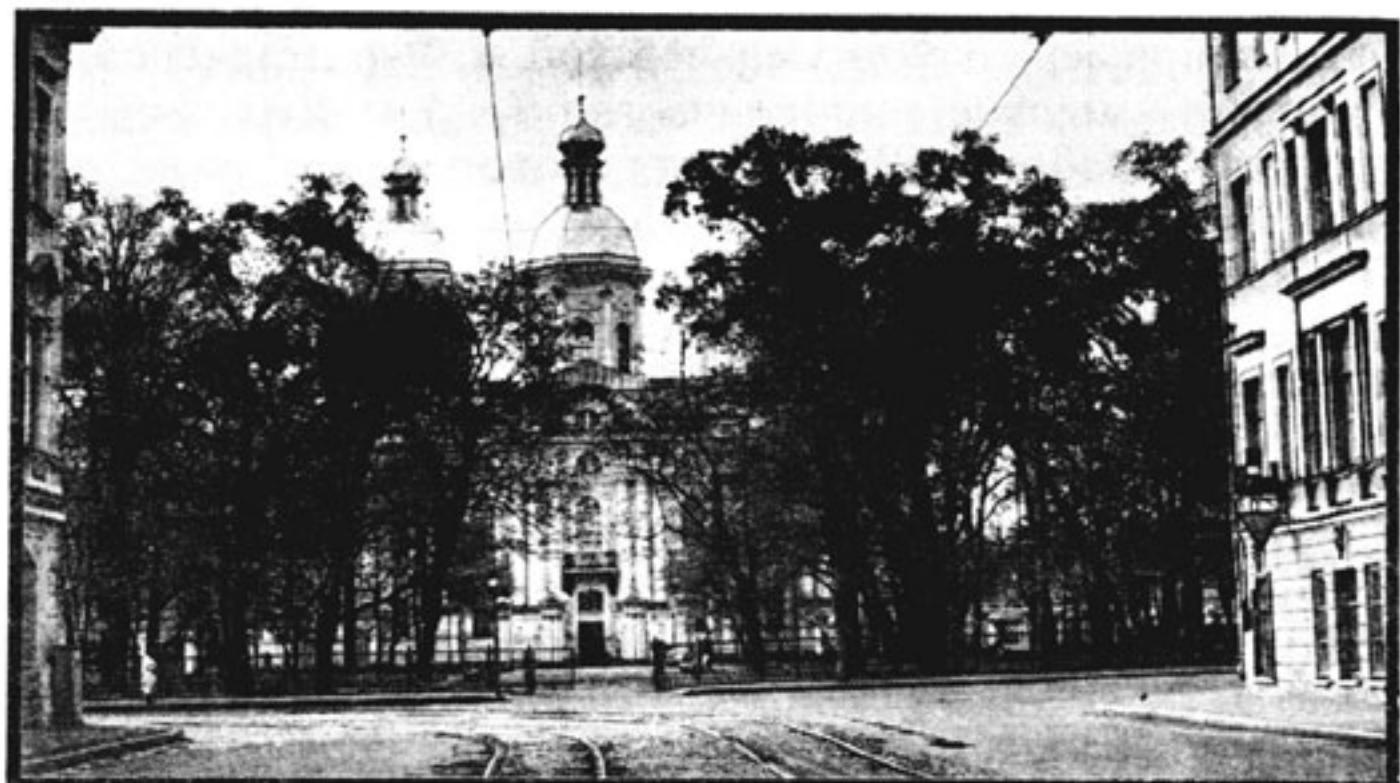
Социальной и национальной топографии Петербурга посвящено довольно много очерков, выросших на основе «физиологических очерков» в середине XIX века и продолжавших появляться вплоть до 1917 года.

Обращает на себя внимание попытка Н. В. Гоголя в повести «Невский проспект» обрисовать смену социального лица Невского проспекта в разные часы дня и ночи.

Моя задача состоит в том, чтобы наметить наличие в Петербурге в первой четверти XX века районов различной творческой активности.

Четкая «интеллектуальная граница» пролегала в Петербурге первой четверти XX века по Большой Неве. По правому берегу, на Васильевском острове, располагались учреждения с традиционной академической научной и художественной направленностью — Академия наук с Пушкинским Домом, Азиатским музеем, Кунсткамерой, Библиотекой Академии наук, являвшейся в те годы значительным научным центром, Академия художеств, Уни-

Ленинград. Никольский собор





Набережная Невы около Зимнего дворца

В Летнем саду

верситет, Бестужевские курсы и... ни одного театра, хотя именно здесь, на Васильевском острове, на Кадетской линии с 1756 года стал существовать первый профессиональный театр — Театр Шляхетского корпуса,— того корпуса, где учились М. М. Херасков, Я. Б. Княжнин, В. А. Озеров и другие.

Иным был интеллигентский характер левого берега Большой Невы. Здесь в соседстве с императорскими дворцами и особняками знати нашли себе место не только императорские театры, кстати сказать, не чуждые экспериментов (достаточно напомнить интенсивную балетную деятельность Мариинского театра, постановки В. Э. Мейерхольда в Мариинском и Александринском театрах, театральную активность Малого драматического театра на Фонтанке и Михайловского театра в начале 20-х годов). На левом берегу Большой Невы на Большой Морской находился и выставочный зал Общества поощрения художеств. У Таврического сада существовала знаменитая «Башня» Вячеслава Иванова с журфиксами, на которых бывал весь интеллигентский Петербург и даже осуществлялись небольшие постановки и интересные выступления. На Литейном проспекте ее сменил известный «Дом Мурузи», где собирались поэты. На Надеждинской (теперь Маяковского) располагался Союз поэтов. На Троицкой улице функционировал «Зал Павловой», где

выступал Маяковский. На Моховой улице в зале Тенишевского училища происходили дискуссии, в частности формалистов с «академистами». В зале городской думы выступали поэт А. Туфанов и художник К. С. Малевич и были, если не ошибаюсь, постановки Экспериментального театра. В Калашниковской бирже выступал Marinetti по приезде в Петербург. Городская дума и Соляной городок были центрами интеллектуальной активности с конца XIX века. У Нарвских ворот были выступления Молодежного экспериментального театра. На левом же берегу Большой Невы в 1909—1911 годах существовал театр «Голубой Глаз», где впервые была поставлена «Незнакомка» А. Блока. Некоторое время существовало артистическое кабаре «Летучая мышь» (см.: А. Кугель. «Артистические кабачки». — «Театр и искусство», 1906, № 33). Значительную роль играл на левом берегу Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской (1904—1910), в обиходе называвшийся «Театром на Офицерской». В другом «Театре на Офицерской», располагавшемся на пустыре в деревянном строении, была осуществлена постановка оперы «Победа над солнцем» (Крученых, Малевич, Матюшин). На левом же берегу существовало возглавляемое А. Р. Кугелем «Кривое Зеркало» (1908—1910—1918; возобновлено в 1922—1928), кроме того, «Старинный театр» (1911—1912). Напомним и о знаменитом артистическом кабаре на Михайловской площади — «Бродячая собака» (1910—1912) и сменившем «Собаку» «Привале комедиантов» на Марсовом поле. Там же, на Марсовом поле, существовало «Художественное бюро» Н. Е. Добычиной, где были художественные выставки и первое выступление супрематизма в 1915—1916 годах. Почти все выставки «Союза молодежи», в которых участвовали и петербургские и московские молодые художники, проходили на левом берегу — главным образом, в районе Невского проспекта.

К институтам, находившимся на Исаакиевской площади, мы еще вернемся. Обращаясь к правобережной части Большой Невы, отметим, что на Петербургской стороне, помимо улицы кинематографистов — Большого проспекта и Народного дома со случайной, эпизодической творческой активностью, существовал Каменноостровский проспект (ныне Кировский) с сетью ресторанов дурного вкуса, преимущественно для «фармацевтов»

(так называли в «Собаке» богатых буржуазных посетителей): «Аквариум», «Вилла Эрнест», «Вилла Родэ» (последний — ресторан с цыганами на отрезке Каменноостровского уже в Новой Деревне). Из немногих поздних интеллектуальных исключений на Петроградской стороне — это дом художника Михаила Матюшина и Елены Гуро на Песочной (ныне Попова) улице на левом берегу Малой Невы. Здесь бывали Филонов, Крученых, Бурлюки и многие другие. На Большой Пушкарской улице интерес представляло в начале 20-х годов «Общество художников», помещавшееся в деревянном доме с выставочным помещением, где была, кстати, выставка П. Н. Филонова (среди произведений последнего помню знаменитую картину «Формула пролетариата»).

Представляется любопытным следующий факт. А. А. Блок ни разу, по всем данным, в отличие от Л. Д. Блок не бывал в «Бродячей собаке». Зато его любимыми прогулками, даже после переезда на Офицерскую, были на правом берегу, по Большой Зелениной с мостом, ведшим на Крестовский остров (здесь, на Большой Зелениной улице происходит действие его «Незнакомки» и, как утверждает Л. К. Долгополов, действие «Двенадцати»; см. факсимильное переиздание: Александр Блок. «Двенадцать». Рисунки Ю. Анненкова, Алконост. Петербург, 1918, с. 5 и далее). Местом любимых прогулок Блока являлись на правом берегу Большой Невы Новая Деревня, Лесной, Парголово, Озерки, но не дальние устья Сестрыреки (о северном береге Финского залива — ниже). Блок не любил изысканно интеллектуальной публики.

Теперь перейдем к самому важному для литературоведов и искусствоведов факту. На левом берегу Невы на Исаакиевской площади располагались два центра интеллектуальной жизни Петербурга-Ленинграда: Институт истории искусств (в разговорном названии — «Зубовский институт») и через дом от него на углу Почтамтской (ныне Союза Связи) улицы — «Дом Мятлевых». История и значение Института истории искусств достаточно хорошо известны и в данных заметках не нуждаются в освещении. Между тем не менее важен для интеллектуальной жизни города «Дом Мятлевых», история которого за первые годы Советской власти известна литературоведам мало.

Вот некоторые факты. В «Доме Мятлевых» в 1918 году был организован Отдел народного просвещения, вошедший затем в состав Комиссариата народного просвещения до переезда Советского правительства в Москву. Здесь бывал и А. В. Луначарский. Тогда же усилиями Н. И. Альтмана здесь был создан первый в мире Музей художественной культуры (открыт в 1919 году). В экспозиции находились произведения Кандинского, Татлина, Малевича, Филонова, Петрова-Водкина. На базе музея по инициативе П. Н. Филонова здесь в 1922 году были организованы исследовательские отделы музея. В следующем году отделы были преобразованы в Институт художественной культуры (директором был К. С. Малевич, живший в том же доме с входом с Почтамтской улицы; в его квартире собирались художники и поэты — бывал В. Хлебников, приходили М. Матюшин с Эндерами, поэты-обэриуты; заместителем К. С. Малевича был Н. Н. Пунин). В институте были отделы: Живописной культуры (руководил К. С. Малевич), Материальной культуры (руководил М. В. Матюшин), Отдел общей идеологии (первоначально руководил П. Н. Филонов, его сменил Н. Н. Пунин). Экспериментальным отделом руководил П. А. Мансуров. В 1923 году в «Доме Мятлевых» в годовщину смерти В. Хлебникова была поставлена Татлиным «Зангези» с «хлебниковской» выставкой П. В. Митурича. В 1925 году этот институт, утвержденный Советом Народных Комиссаров, стал именоваться Государственным институтом художественной культуры (ГИНХУК; не смешивать с московским ИНХУКом).

В 1926 году в институте была организована последняя художественная выставка, на которую пришел некий критик Серый (Гингер) и, возмущенный недружелюбным приемом Татлина (последний, стоя в дверях, не пропустил Серого, явившегося на следующий день переодетым), выступил с резкой и несправедливой критикой в газете. В конце того же, 1926 года институт был закрыт, Н. Н. Пунин передал материалы музея в Государственный Русский музей, а Н. М. Сuetин, А. А. Лепорская, М. В. Матюшин, К. С. Малевич перешли в соседний Институт истории искусств и здесь организовали «Лабораторию изучения формы и цвета».

Из изложенного ясно, что правый и левый берег Большой Невы резко различались между собой в интеллек-

туальном отношении настолько, что попытки Ф. Сологуба и А. Чеботаревской организовать на Петербургской стороне собственное артистическое кабаре не увенчались успехом с самого начала.

Впрочем, различие между правым и левым берегом Большой Невы не выходило за пределы ее устья. Правый и левый (южный) берега Финского залива резко расходились по своему значению. На южном (левом) берегу располагались дачные места, где в окружении исторических дворцов жили по преимуществу художники с ретроспективными устремлениями (вся семья Бенуа — Николай, Леонтий, Александр; семья Кавос; Е. Е. Лансере, К. А. Сомов, А. Л. Обер, бывал С. Дягилев и другие). На северном (правом) берегу Финского залива располагались дачные места, где жила по преимуществу интеллигенция, склонная к творческому бунтарству. В Дюнах жил В. Б. Шкловский. В Куоккале были репинские «Пенаты», вокруг которых организовывалась молодежь, жил К. И. Чуковский, были дачи семей Пуни и Анненковых, жил Горький, жил Кульбин, один год жил А. Ремизов в пансионате около «Мельницы», на Сестре-реке. Взрослые и подростки устраивали празднества, спектакли, писали озорные стихи и пародии. В Териокском театре работали В. Э. Мейерхольд, Н. Н. Сапунов, Л. Д. Блок (о Блоке в Териокском театре см.: Собр. соч. в 8-и т., т. 7, с. 151 и далее; т. 8, с. 391 и далее). Нельзя и перечислить всего того, чем примечательны в интеллектуальной жизни России северные дачные места Финского залива.

Вернемся в Петроград.

В 1922 году наметился частичный отход В. М. Жирмунского от Института истории искусств и сближение его с академическим направлением в науке о литературе. В. М. Жирмунский переезжает на Васильевский остров (в Горный институт) и начинает больше преподавать в университете на факультете общественных наук по романо-германской секции. Начались острые расхождения, отразившиеся в дискуссиях в зале Училища Тенишевой на Моховой и в Институте истории искусств. На левом берегу Большой Невы В. М. Жирмунского обвиняли в «академизме».

На титульном листе своей «Мелодики русского лирического стиха», вышедшей весной 1922 года, Б. М. Эйхен-

баум написал следующее дарственное стихотворение В. М. Жирмунскому:

Ты был свидетель скромной сей работы.  
Меж нами не было ни льдов, ни рек;  
Ах, Витя, милый друг! Пошто ты  
На правый преселился брег?

Б. Эйхенбаум  
2 марта 1922 г.

Книга со стихами Б. М. Эйхенбаума хранится у Н. А. Жирмунской. Различие правого и левого берега Большой Невы ясно осознавалось в свое время.

Итак, в городах и пригородах существуют районы наибольшей творческой активности. Это не просто «места жительства» «представителей творческой интеллигенции», а нечто совсем другое. Адреса художников различных направлений, писателей, поэтов, актеров вовсе не группируются в некие «кусты». В определенные «кусты» собираются «места деятельности», куда тянет собираться, обсуждать работы, беседовать, где обстановка располагает к творческой откровенности (прощу извинения за это новое вводимое мной понятие), где можно быть «без галстуха», быть во всех отношениях расторможенным и в своей среде.

Примечательно, что тяга к творческому новаторству возникает там, где появляется группа людей — потенциальных или действительных единомышленников. Как это ни парадоксально на первый взгляд может показаться, но новаторство требует коллективности, сближения и даже признания хотя бы в небольшом кружке людей близкого интеллектуального уровня. Хотя и принято считать, что новаторы по большей части люди, сумевшие подняться над общим мнением и традициями, это не совсем так. К этому стоит приглядеться.

Удивительная «связь времен». Знал ли я, садясь в конке на империал со своей нянькой, чтобы прокатиться в Коломну и обратно, что на остановке против Никольского собора на Екатерингофском я могу заглянуть прямо в окна квартиры Бенуа. Что я буду учиться в старшем приготовительном классе в гимназии Человеколюбивого общества, где первоначально учился и А. Н. Бенуа. Что потом я перейду в гимназию и реальное училище К. И. Мая на Васильевском острове, куда перед тем задолго до

меня перешел и он. Что моим любимым местом в Петергофе будет площадка Монплезира со стороны моря, которую и А. Н. Бенуа считал красивейшим местом под Петербургом. Что затем я буду долго и упорно хлопотать об издании в серии «Литературные памятники» его воспоминаний, переписываться с его дочерью Анной Александровной.

И еще. А. Н. Бенуа жил в Лондоне в 1899 году в «Boarding place» на «Montague street», очень вероятно — там же, где я останавливался в 1967 году. Если бы я это знал, я бы совсем иначе отнесся к своей староанглийской гостинице с Библией, детективами на полочке над кроватью и камином, впрочем, переделанным на газ. В этой же гостинице, по-видимому, останавливался и Владимир Соловьев, когда приезжал в Лондон работать в библиотеке Британского музея.

Все так близко и рядом. Даже в пространстве истории. Ведь А. Н. Бенуа видел в детстве маленького столетнего стариичка — пажа Екатерины II, жившего в одном из служебных корпусов Петергофского дворца.

Связи небольшие, слабые, но они есть и они удивительны.

До чего же привлекательны для детей обычай, традиции! На вербную неделю в Петербург приезжали финны катать детей в своих крестьянских санках. И лошади были хуже великолепных петербургских извозчичьих лошадей, и санки были беднее, но дети их очень любили. Ведь только раз в году можно покататься на «вейке»! «Вейка» по-фински значит «брать», «браташка». Сперва это было обращение к финским извозчикам (кстати, им разрешалось приезжать на заработки только в вербную неделю), а потом сделалось названием финского извозчика с его упряжкой вообще.

Дети любили именно победнее, но с лентами и бубенцами — лишь бы «поигрушечнее».

Избранные работы. Т. 3. Л. 1984.

## КУОККАЛА

Квартира из пяти комнат стоила половину отцовского жалованья. Весной мы рано уезжали на дачу, отказыва-

ясь от квартиры и нанимая в том же районе Мариинского театра осенью. Так семья экономила деньги.

Ездили мы обычно в Куоккалу за финской границей, где дачи были относительно дешевы и где жила петербургская интеллигенция — преимущественно артистическая.

Сейчас мало кто себе представляет, какими были дачные местности и дачная жизнь. Постараюсь рассказать о местности, с которой связано мое детство, — о Куоккале (теперь Репино).

В «Спутнике по Финляндии» К. Б. Грэнхагена о Куоккале сказано мало и сухо: «Куоккала (42 килом. от СПб.). Станция находится в одной версте от берега залива. В летнее время местность густо населена дачниками. Однако скученность построек и отсутствие хороших дорог являются крупным недочетом в ряду прочих более или менее удовлетворительных условий дачной жизни. В особенности плохи дороги к северу от ж.-д. станции. Песчаная местность, покрытая сосновым лесом, в общем вполне пригодна для дачной жизни. Имеются лавки, аптека и даже театр. Лучшие дачи расположены вдоль береговой линии и отдаются внаем за высокую плату. Недорогие дачи находятся к северу от ж.-д. станции. Многие из них также заняты зимою. Имеется прав. церковь». Далее мелким шрифтом напечатано любопытное сообщение: «В последние годы русской революции (имеется в виду революция 1905 года. — Д.Л.) здесь находили приют эмигранты, преследуемые русским правительством. Однако после обнаружения в окрестностях Куоккалы (Хаапала) «фабрики бомб» финляндская администрация в силу закона 1826 года пошла навстречу требованиям русских властей, ввиду чего многие эмигранты были арестованы и доставлены в петербургское охранное отделение».

О Куоккале, как интереснейшей дачной местности Петербурга, я писал и говорил (по телевидению в фильме о К.И. Чуковском «Огневой вы человек»). Здесь жила летом небогатая часть петербургской интеллигенции. Две дачи принадлежали зимогорам Анненковым (из этой дворянской семьи, сыгравшей большую роль в русской культуре, вышел и художник Юрий Анненков); на самом берегу против Куоккальской бухты была дача Пуни. Владелец ее Альберт Пуни, принявший православие с именем Андрей (поэтому часть его детей были Альберто-

вичи, а другие — Андреевичи), виолончелист Мариинского театра, был сыном автора балетной музыки и владельцем большого доходного дома на углу Гатчинской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. Его сын стал известным живописцем во Франции и до конца жизни любил писать пляжи, напоминавшие ему о его счастливом детстве.

Папу встречаем.

Мама с куоккальскими дамами сидит на скамейке, а я, как обычно, хожу, балансируя, по рельсине. Рельсовый путь уходит в бесконечность — к Петербургу, откуда должен на поезде приехать отец. Он привезет павловскую гигантскую землянику или еще что-нибудь вкусное, а иногда игрушку: серсо, игрушечную парусную яхтку, заводной пароходик (играть в воде мне особенно нравилось, и сохранилась даже фотография — я на море, по щиколотку в воде, в панамке и коротких штанишках, а у ног парусная игрушечная лодочка).

Жду, смотрю вдаль. И вот появляется мой человечек: пузатенький, с большой головой, в юбочке и курит. Это паровоз поезда. Круглое туловище — это котел. Большая голова — труба с раструбом, она дымится. А странная юбочка (паровоз, несомненно, мужчина, господин) — это предохранительная сетка, расширяющаяся книзу, к рельсам.

#### *Железная дорога начала века*





*И. Е. Репин (автопортрет)*



*Стасов В. В. (портрет работы И. Е. Репина)*

Приближается. Тонко, на заграничный лад, свистит (русские паровозы гудят басом, как пароходы). Потом подкатывает, работая колесами (любимая игра детей моего, пятилетнего, возраста — изображать собой паровоз, двигая локтями, как поршнями). Тянутся вагоны — синие, зеленые и красные, но значение цветов другое, чем русских. Сейчас я уже точно не помню. Кажется, синие вагоны — первого класса. Из синих вагонов выходят первыми финские кондукторы в черной форме, становятся у лесенки и помогают пассажирам выходить. Появляется отец и, целуя маму, рассказывает, с кем ехал. Однажды в окне вагона мне показали барона Мейерхольда, он ехал дальше, в Териоки. Чудится, что я его запомнил, и запомнил именно как барона. Как барона его знали и средние дачники — инженеры, чиновники. Другие дачники и зимогоры были художниками: Пуни, Анненковы, Репины и другие. Почему-то они представлялись мне другой породы — итальянцами, брюнетами, заводилами разных забав. Постепенно все разъезжаются на финских двуколках. Несутся двуколки с быстротой ветра, а если пассажиров несколько, финн-хозяин стоит на оси колеса и управляет с ловкостью циркача. Но главное — скорость.

На границе с Оллилой (ныне Солнечное) были репинские Пенаты. Около Пенат построил себе дачу К. И. Чуковский (помог ему в этом — и деньгами, и сове-



*A. A. Блок  
и K. И. Чуковский*

*A. M. Горький  
и F. И. Шаляпин*

тами — И. Е. Репин). На мызе Лентулла по Аптекарской дорожке (теперь ее именуют Аптекарской аллеей) жил Горький. В те или иные летние сезоны жил Маяковский, наезжал Мейерхольд, жил художник и врач Кульбин (он, кстати, лечил и меня), приезжали к Репину Леонид Андреев, Шаляпин, Стасов и многие другие. Некоторых я встречал на Большой дороге — главной улице Куоккалы и в чудесном общедоступном парке сестер Ридингер, о котором не удосужился упомянуть автор путеводителя. По вечерам мы гуляли либо по самому берегу залива, по сырому укатанному волнами песку, либо по бетонной дорожке, которая шла к глубине пляжа около заборов выходивших к морю дач.

Куоккальские дачи имели заборы всегда деревянные и всегда различные, пестро окрашенные. У заборов останавливались разносчики и финские возки: «молоко, метана, ливки» (финны не произносили двух согласных звуков впереди слова: только второй). Разносчики часто бывали ярославцы, торговавшие зеленью, булками, пирожными. Корзинки с товарами носили на голове, подкладывая мягкий круг. Цыгане били в котел и кричали: «Лудить, паять...» — и еще что-то третье, что — я уже забыл. За пределами дачной местности часто стоял цыганский табор. Работали честно и честно возвращали заказы.



Л. Н. Андреев

М. А. Пуни.  
Рисунок И. Е. Репина

Если погода безветренная, особенно утром — в предвестии жары, то, прислушавшись, на берегу можно было слышать как бы басовитые гудки: у-у-у, у-у-у, у-у-у! Это в Куоккале слышен на пляже звон большого колокола Исаакиевского собора. Звонят во все колокола, но слышен только большой, самый большой в городе. И в определенный час, пока еще пляж не наполнится людьми, мы бегали к морю послушать Исаакий.

А днем в жару пляж гудел, как улей, роем детских голосов, радостных, испуганных, когда окунались, озорных, при игре, но всегда точно приглушенных водой, расплывающихся, нерезких. Эта музыка пляжа слышна и до сих пор, и до сих пор я ее очень люблю.

Но море становилось торжественным и значительным, когда еле слышно через воду долетал звук тяжкого колокола Исаакия. С тех пор я знаю, что такое «пуститься во все тяжкие». И я запомнил двойное значение этого выражения: мы бежали к морю «во все тяжкие» и слышали «тяжкий» колокол Исаакия.

Что за чудо веселья, развлечений, озорства, легкости общения, театральных и праздничных экспромтов была эта Куоккала!

Куоккала была царством детей. На пляже слышался гомон детских голосов. К морю уходили на целый день, брали с собой молоко и завтрак, пропуская обеденное

время, принятное зимой, — в час. Игрушки, весла, спасательные пояса, зонты, купальные костюмы — все это хранилось в деревянных будках, стоявших на берегу иногда в два и даже в три ряда. У каждой дачной семьи была своя будка, часто своя лодка. От пляжа в море шли мостки, с которых было весело кувыркаться в воду. Мостки были и частные, и общественные — за деньги. По воскресеньям на пляже где-нибудь играл оркестр: это означало, что было благотворительное представление. Представления были и в кукольском театре. Небольшой оркестрик из четырех отставных немецких солдат ходил по улицам Куоккалы, останавливался перед какой-нибудь дачей и начинал играть — начинал с «Ойры», любимой финнами песенки. Если им махали рукой, они прекращали игру, но часто мы просили записать — в какой день прийти, играть танцы на дне рождения или на именинах, когда собирались дети со всей округи.

В дни рождения и именин детей иллюминировали сад китайскими фонариками, обязательно жгли фейерверк; впрочем, Горький на своей даче зажигал фейерверки и просто костры без всякого повода. Он любил огонь. Покупали фейерверки в пиротехническом магазине под Городской думой на Невском. На такие веселые вечера сбегались дети со всех дач. Дети бегали веселыми стайками по Куоккале и продавали благотворительные значки (в день Ромашки — в пользу туберкулезных, во время первой мировой войны — в пользу раненых).

Интересы детей, их развлечения господствовали. Взрослые с удовольствием принимали участие в детских играх. Дух озорства проявлялся в местном театре, где выступал иногда и Маяковский, читали Репин, Чуковский, ставились подростками фарсы. Мальчишки пели озорные песни про пупсика, «большую крокодилу», матчиши. И дети, и взрослые (иногда вместе, разновозрастными компаниями, а иногда небольшими группами) ходили на длинные прогулки. Раз в лето непременно ходили на музыку в Сестрорецкий курорт (выходили очень рано утром). Чаще ходили «на мельницу»: на Сестре-реке была мельничная запруда (там жил как-то на даче А. Ремизов). «Мельница» (так мы называли всю местность) казалась мне красивейшим местом в мире. Молодежь ездила компаниями на велосипедах.

Вот в этой обстановке расцветала озорная живопись,

озорное сочинительство (пьес и стихов), по преимуществу для детей. Без этого детского и юношеского озорства нельзя понять многое в Чуковском, в Репине, в Пуни и в Анненкове.

И какие только национальности не жили в Куоккале: русские, финны-крестьяне, сдававшие дешевые дачи (с финскими мальчиками мы играли в прятки и другие шумные игры), петербургские немцы, финляндские шведы, петербургские французы и итальянская семья Пуни — с необыкновенно темпераментным стариком Альбертом Пуни во главе, вечным заводилой различных споров, в которых он всегда и вполне искренне выступал как отчаянный русский патриот.

На благотворительных спектаклях стремились поразить неожиданностями. Ставились фарсы, шутили над всеми известными дачниками. Мой старший брат Миша играл в куоккальском театре в фарсе Е. А. Мировича (Дунаева) «Графиня Эльвира». Но были и «серезные» спектакли. Репин читал свои воспоминания. Чуковский читал «Крокодила». Жена Репина знакомила с травами.

Почти все (кроме новичков) были знакомы друг с другом, ходили друг к другу в гости. Создавали благотворительные сборы, детские сады на общественных началах. Взрослые и дети вместе играли в крокет, в серсо, в рюхи. На даче у Пуни большими компаниями катались на гигантских шагах, делали на них «звездочку», при которой «закрученный» другими катающийся взлетал очень высоко — почти вровень с макушкой столба. Пожилые играли в саду в винт и преферанс. Неторопливо беседовали. Церковь была общественным местом, где собирались все, в том числе лютеране и католики, но стояли в ней не всегда полностью всю службу, а выходили на лужайку, где были врыты деревянные скамейки и можно было поговорить, посплетничать. Во время войны Репин стал особенно религиозен и пел на клиросе. Религиозен стал и зять Пуни — Штерн. Он был немцем, но в начале первой мировой войны переменил фамилию на Астров, принял православие. С Мишой Штерном я дружил.

Одевались весело. Приятельница моей матери Мария Альбертовна Пуни, красивая черноглазая итальянка, носила на щиколотке ноги золотую браслетку (платья к четырнадцатому году поднялись и стали только чуть-

чуть нависать над стопой). Девочки Анненковы смущали всех, нося брюки в своем саду. Сам Корней Иванович, вернувшись в 1915 году из Англии, куда он ездил с какой-то делегацией, стал ходить босиком, хотя и в превосходном костюме. А писатели — те все выдумывали себе разные костюмы: Горький одевался по-своему, красавец Леонид Андреев по-своему, Стасов по-своему, Маяковский по-своему... Всех их можно было встретить на Большой дороге в Куоккале (теперь Приморское шоссе), они либо жили в Куоккале, либо приезжали в Куоккалу.

Люди искусства стали для нас всех если не знакомыми, то легко узнаваемыми, близкими, встречаемыми.

Свой куоккальский озорной характер К. И. Чуковский сохранял до конца жизни. Вот что мне рассказывала старый врач санатория Академии наук «Узкое» Татьяна Александровна Афанасьева. Жил К. И. Чуковский обычно в центральном корпусе, в комнате 26. Возвращаясь с прогулки, ловил ужей, которых в Узком (постаринному «Ужское») было много. Навешивал ужей себе на шею и на плечи штук по пять, а затем, пользуясь тем, что двери в комнаты не запирались, подбрасывал их отдыхающим и наслаждался их испугом. Не позволял мешать себе во время работы и поэтому вывешивал на дверях своей комнаты плакат: «Сплю». Такой лист висел часов до трех дня. Приезжавшие к Корнею Ивановичу из Москвы ждали, ждали и в конце концов уезжали. Татьяна Александровна рассказывала и о следующей проделке. Бывало, он бросался на колени перед сестрами, принесшими ему лекарства (обычно травяные настойки: сердечные, успокаивающие, снотворные), и умолял их с трагическими жестами забрать лекарства назад.

Давняя подавальщица в столовой Антонина Ивановна тоже хорошо помнит Корнея Ивановича: «Ох, и чудил же», а сама смеется.

Веселая и озорная дачная жизнь Куоккалы приобрела в 1914 году тревожные нотки. В сентябре ждали германского десанта в Финляндии. Финские полицейские заколачивали досками вышки дач (дачи в начале века строились непременно с башенками, откуда было видно море). Из фортов Кронштадта доносилась учебная стрельба, которой море придавало какой-то булькающий звук,— точно хлопали открываемые бутылки шампанского. Было вид-

но, как буксиры везли мимо фортов барки со щитами, по которым и шла учебная стрельба.

Сам я озорником не был, но озорников в искусстве любил с мальчишеских лет, разумеется — талантливых озорников. Я в детстве жил в Куоккале недалеко от Пенат Репина. Он очень покровительствовал Чуковскому, Пуни, Анненкову, Кульбину. С семьями Пуни и Анненкова наша семья дружила. Помню Мейерхольда, красавца Леонида Андреева. Все они оригинальничали и озорничали, играли в рюхи, запускали змеев на пляже, жгли костры, увлекались фейерверками, домашними театралами, шутливыми выставками. Недавно Д. Н. Чуковский подарил мне афишу выступления куоккальских озорников в местном театре. О Куоккале как о родине европейского авангардизма стоило бы мне написать отдельно. Но тут надо потратить много времени на розыски материалов, а времени становится все меньше и меньше. В студенческие годы огромное впечатление произвели на меня «Столбцы» Н. А. Заболоцкого. Я до сих пор их очень люблю. Люблю веселое искусство — в том числе праздничный балет, классический, «мариинский». Люблю веселое искусство природы: цветы, бабочек, тропические растения, водопады, фонтаны и бури (воду во всех ее шумных проявлениях). И еще люблю большие корабли, особенно парусные, «мирные» пушечные выстрелы в 12 часов с Петропавловской крепости.

Летом 1915 года в Куоккале появились новые «зимогоры» — беженцы-поляки. И от них я получил первый урок уважения к другим нациям. Мы, мальчики, дразнили поляков словами «цото бендзе» («что-то будет!»), которые они часто произносили в своих тревожных разговорах. И вот однажды изящная полька обернулась к нам с улыбкой и ласково сказала: «Да, мальчики! «Цото бендзе» — и для вас и для нас в этой войне». Нам стало стыдно. Мы не обсуждали между собой этот случай, но дразнить перестали.

И еще одно сильное впечатление в Куоккале. В пасхальную неделю, как и во всех русских православных церквях, разрешалось звонить всем и в любое время. Отец и мы, два брата, однажды (приезжали на дачи рано весной) ходили на колокольню звонить. До какой же степени было восхитительно слушать звон под самыми колоколами!

Был в Куоккале один случай, который «прославил» нас с братом среди всех дачников. Ветер дул с берега (самый опасный). Мой старший брат снял синюю штору у нас в детской, водрузил ее на нашей лодке и предложил прокатиться под «парусом» вполне домашнему мальчику —нуику сенатора Давыдова. Домашний мальчик Сережа (он впоследствии, после второй мировой войны, работал архитектором-реставратором в Новгороде) пошел к своей бабушке и спросил у нее разрешения прокатиться. Бабушка была франтиха с фиолетовыми глазами, сидела в шелковом платье стального цвета под зонтиком от солнца. Она спросила только — не промочит ли Сережа ноги: в лодке ведь всегда есть на дне вода. Велела Сереже надеть галоши. Сережа надел новые блестящие галоши и сел в лодку. Все это происходило на моих глазах. Поехали. Ветер тихий, как всегда у берега, усилился вдали. Лодку погнало. Я наблюдал с берега и увидел: синий парус медленно наклонился и исчез. Бабушка, как была в корсете и с зонтиком, пошла по воде, простирая руки к любимому Сереже. Дойдя до глубокой воды, бабушка с фиолетовыми глазами упала без чувств. А на берегу за загородкой из простины загорал проректор Петербургского университета — красавец Прозоровский. Он наблюдал за бабушкой и, когда та упала, бросился ее спасать. И, о ужас! — в одних трусах. Он поднял бабушку с фиолетовыми глазами и понес ее к берегу. А я изо всех сил побежал домой. Подбежав к нашей даче, я замедлил шаг и постарался быть спокойным. Мать спросила, очевидно, догадавшись все же, что что-то случилось: «На море все спокойно?» Я немедленно ответил: «На море все спокойно, но Миша тонет». Эти мои слова запомнились и вспоминались потом в нашей семье сотни раз. Они стали нашей семейной поговоркой, когда внезапно что-либо случалось неприятное.

А в море в это время происходило следующее. Домашний мальчик Сережа, конечно, не умел плавать. Брат стал его спасать и велел сбросить галоши. Но Сережа не хотел — то ли чтобы не ослушаться бабушки, то ли потому, что было жаль блестящих галош с медными буквами «С.Д.» («Сережа Давыдов»). Брат пригрозил: «Сбрасывай, дурак, или я сам тебя брошу». Угроза действовала, а от берега уже гребли лодки и лодки.

Вечером приехал отец. Брата повели на второй этаж

пороть, а затем отец, не изменяя своим привычкам, повел нас гулять вдоль моря. Как полагалось, мы с братом шли впереди родителей. Встречные говорили, указывая на моего брата: «Спаситель, спаситель!», а «спаситель» шел мрачный, с зареванной физиономией.

Хвалили и меня за «мудрую» выдержку. А однажды в особенно сильную бурю кто-то из встречных сказал мне: «На море все спокойно, но четыре будки подмыло и опрокинуло». Я немедленно побежал на море смотреть. Бури я люблю и до сих пор, не люблю обманчивого берегового ветра.

Лето длилось бесконечно долго. И в город я возвращался каждый раз повзрослевшим.

И опять «связь времен». Дачевладелец серб А. Шайкович, у которого мы снимали дачу последние три года перед революцией, оказывается, переводил «Слово о полку Игореве» на сербский язык. После революции он был югославским консулом в Финляндии и издал свой перевод «Слова» на сербский язык в Гельсингфорсе.

Часть Финского залива, отделенная сейчас от остальной его части дамбой, до сих пор называется Маркизовской лужей: в первые годы XIX века здесь обычно устраивал морские учения маркиз де Траверсе.

Заметки и наблюдения. Л. 1989

## ЕЩЕ О КУОККАЛЕ

У садовницы-финки, к которой я недавно зашел, чтобы купить цветов для кладбища, я спросил: не помнит ли она пансионат «Юлия» на Церковной улице в Келомяках, где мы жили, кажется, в 1915 году. «Юлии» она не вспомнила, а о пансионатах и Куоккале мы разговорились. Вот что она рассказывала:

«Когда здесь русские господа жили, как здесь было весело, сколько было праздников. На Троицу, бывало, все березками украшено — даже поезда с березками ходили. На берегу вечерами оркестр играл. Компании водили. В ветреную погоду змея пускали. А теперь есть ли змеи? А тогда и взрослые и дети пускать змея любили. На Иванов день костры жгли, бочки со смолой. В крокет играли. А теперь и крокет забыли. Наверное, и не про-

дается? На станции встречать поезда ходили. Около всех станций садики были. С поезда разъезд был. Много таратаек ехало. Финские лошадки маленькие, но быстрые и выносливые.

Финны русских господ любили... Русские вежливые были, приветливые».

Когда в первую финскую войну финны отсюда уходили, Александра Яновна спряталась — хотела с русскими остаться. Между двумя финскими войнами ее вывезли куда-то — может быть, в Вологду. Там она замуж вышла. Первую ее дачу отобрали пожарные, но другую дали, и она разводит цветы, ягоды, огурцы. С того и живет. К ней мы постоянно заходим. И с дочерью Верой заходили.

Я был рад поговорить о Куоккале. Мои впечатления совпали с ее. Значит, я не преувеличивал.

24.VI.1984.

Заметки и наблюдения Л. 1989.

## ПО ВОЛГЕ В 1914 ГОДУ

В мае 1914 года мы ездили по Волге — от Рыбинска до Саратова и обратно. Мои родители, старший брат Михаил и я. До Рыбинска от Петербурга — поездом. Как ехали поездом — не помню. Смутные впечатления сохранились только от вокзала в Петербурге. Скорее всего, это был Николаевский (теперь Московский). Там, где прибывали и отходили поезда, в крытой части вокзала и где обрывались рельсы, всегда помещалась икона. Отезжающие молились перед ней. Жарко горели десятки свечей.

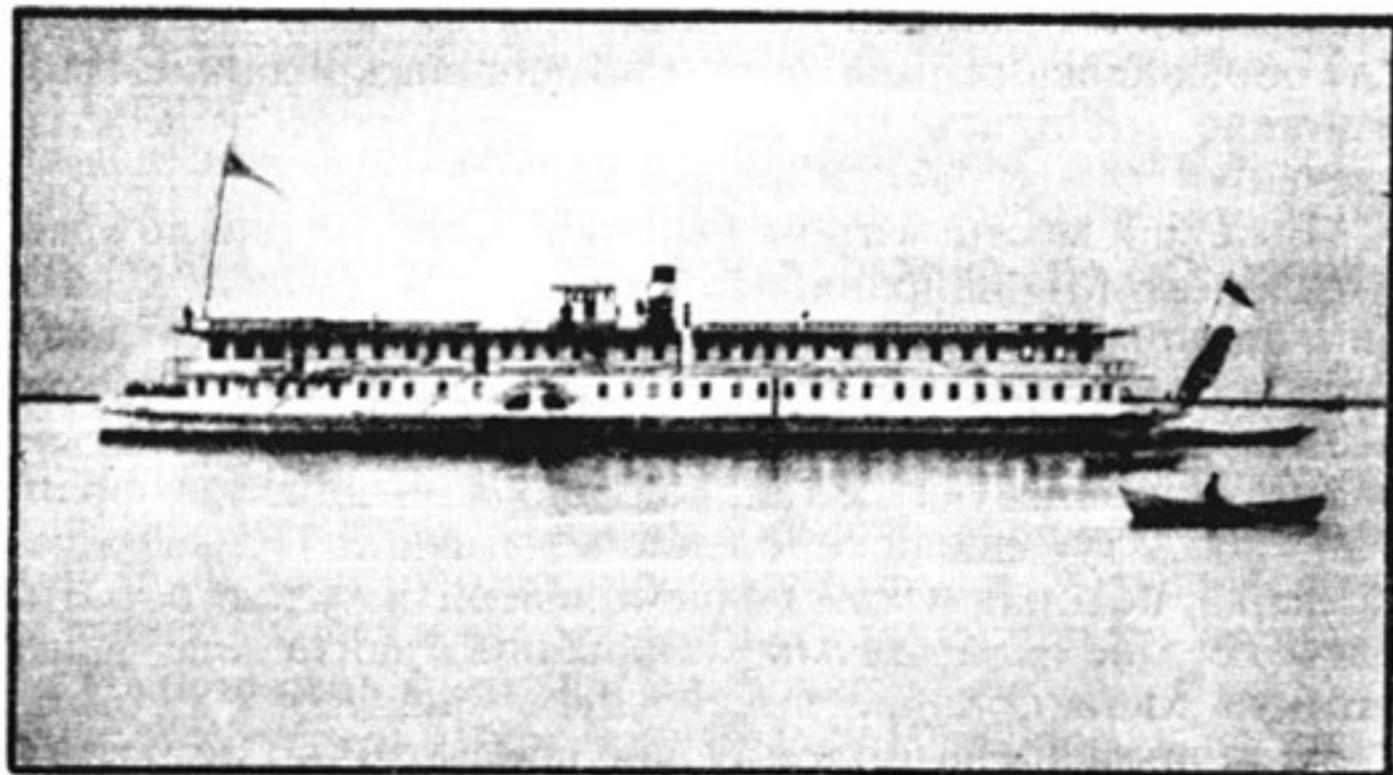
Был май месяц. Утром Рыбинск встретил нас дождем и холодом. Мы направились в суровский магазин купить мне длинные чулки, на которые мне надо было сменить мои носочки. Разумеется (дети всегда одинаковы!), мне этого очень не хотелось. Весной надо было быть одетым как можно более легко: таково было мальчишеское франтовство. А тут еще оскорбление в магазине. Приказчица-девушка, которая взялась мне примерить чулки, обратилась ко мне со словами: «Барышня, дайте мне вашу ножку!» Меня приняли за девочку! Ужас!

В те времена на Волге лучшими пароходными компа-

ниями считались две: «Самолет» (розовые красавицы теплоходы с двумя красными полосами на трубе и полу-круглым зеркальным стеклом спереди в ресторане) и «Кавказ и Меркурий» (белые суда). Суда «Самолета» ходили от Нижнего до Астрахани. До Нижнего надо было добираться на колесных «кашинских». А суда общества «Кавказ и Меркурий» шли от самого Рыбинска. Мы взяли каюту на одном из судов «Кавказ и Меркурий». На Волге погода потеплела, и мы в первый же день обедали на носу парохода на воздухе. До сих пор помню вкус хлеба и свежих весенних огурцов. Замечали ли вы, что еда на воздухе имеет другой вкус? Гораздо лучший.

Волга тогда была другая, чем сейчас. Я уже не говорю о том, что она была без «морей» и разливов, без плотин и шлюзов. На ней было множество мелких судов разных типов. Буксиры тянули канатами караваны барок. Сплавляли лес плотами. На плотах ставили шатры и даже маленькие домики для плотогонов. Вечером ярко горели костры, на которых плотогоны готовили пищу и у которых сушили выстиранную одежду. Раза два-три встретились красавицы «беляны». Белья назывались так потому, что они были некрашеные. Бель — это некрашеное дерево. Эти огромные высокие барки плыли по течению, управлялись длинными веслами. По прибытии в нижнее безлесное течение Волги их разбирали на строительный

*Волга. 1914 год*



материал. И строились беляны в верховьях Волги так, чтобы не портить бревна и доски.

Волга была наполнена звуками: гудели, приветствуя друг друга, пароходы. Капитаны кричали в рупоры, иногда — просто чтобы передать новости. Грузчики пели.

Существовали специально волжские анекдоты, где главную роль играли голоса кричавших друг другу с больших расстояний людей, плохо и по-своему понимавших друг друга. Но были и детские байки, и звукоподражания. Помню такое «звукоподражание» перекликающееся друг с другом петухам. Первый петух кричит: «В Костроме был». Второй спрашивает: «Каково там?» Первый отвечает: «Побывай сам». Этот «диалог» довольно хорошо передавал по интонации петушиную перекличку.

А вот сцена, которую я сам наблюдал. Была она в духе Островского. Сел к нам на пароход богатый купец, не устававший хвастаться своим богатством. Встречающиеся плоты он приветствовал, приложив ко рту ладони рупором: «Чьи плоты-те?» С плотов ему непременно отвечали: «Панфилова». Тогда купчишка с гордостью оборачивался к стоявшей на палубе публике и с важностью говорил: «Плоты-те наши!»

Была и такая сцена. По Волге обычно плавал бывший борец Фосс. Был он огромного роста и необыкновенной толщины. Говорили, что он под рубашку подвязывал себе подушку, чтобы казаться еще толще. Хвастался он дружбой с кем-то из великих князей и поэтому считал себя вправе ни за что не платить. Во время обедов он съедал множество всего. Волжские пароходы славились тогда великолепной кухней, особенно рыбной (стерляди, осетрина, икра паюсная, зернистая, ястычная и пр.).

Фосс сел к нам на пароход вечером в Нижнем. Пассажиры встревожились: будет скандал. А шутники пугали: «Съест все, и ресторан закроют». Капитан знал, однако, как бороться с Фоссом. Отказать Фоссу заказывать блюда было нельзя. Капитан шел на расход. Но когда Фосс отказался платить, ему предложили сойти с парохода. Фосс упрямился. Тогда собрали всех матросов, и они, подпирая Фосса с обоих боков, выдавили его. Мы с верхней палубы следили за тем, как выставляли Фосса. Он долго стоял на пристани и сыпал угрозами.

Много пели. Песни слышались с берега. Пели и на нижней палубе, в третьем классе: пели частушки и пляса-

ли. Мать не вынесла, когда плясала беременная женщина, и ушла. Вдогонку беременная плясунья спела нам частушку об инженерах (отец неизменно носил инженерскую фуражку).

На пристанях грузчики («крючники») помогали своему тяжелому труду возгласами и пением. Помню, ночью тащили из трюма (пароход был грузо-пассажирский) какую-то тяжелую вещь; грузчики дружно в такт кричали: «А вот пойдет, а вот пойдет!» Когда вещь сдвинулась, дружно кричали: «А вот пошла, а вот пошла, пошла, пошла!» Этот ночной крик хорошо запомнился мне.

На каждой остановке у пристани собирался маленький базар. Капитан говорил, где и что покупать — где ягоды, где корзины, где икру, где палочки-тросточки. Палочки мы с братом жадно выбирали. Брат купил себе палочку с рукояткой в виде головы турка, а я — с птичкой. Эти палочки долго у нас хранились. Не то эти покупки тросточек были в Кинешме, не то в Плёсе. Помню точно, что берег был очень зеленый, лесистый и круто поднимался вверх.

В Троицу капитан остановил наш пароход (хоть и был он дизельный, но слова «теплоход» еще не было) прямо у зеленого луга. На возвышенности стояла деревенская церковь. Внутри она вся была украшена березками, пол усыпан травой и полевыми цветами. Традиционное церковное пение деревенским хором было необыкновенным. Волга производила впечатление своей песеннстью: огромное пространство реки было полно всем, что плавает, гудит, поет, выкрикивает. В городах пахло рыбой, разного рода снедью, лошадьми, даже пыль пахла ванилью. Люди ходили, громко разговаривая или перебранчиваясь, торговцы выкрикивали свои товары, заманивали покупателей. Мальчишки — продавцы газет выкрикивали их названия, а иногда и заголовки статей, сообщения о происшествиях. На рынках встречались персы, кавказцы, татары, калмыки, чуваши, мордвины — все одетые по-своему, говорившие на своих языках. В Саратове слышалась немецкая речь.

В Саратове мы пересели на обратный пароход той же компании «Кавказ и Меркурий», которую мы, мальчишки, дружно стали считать лучше бледно-розового пароходства «Самолет».

Как возвращались поездом, не помню. Помню толь-

ко, что обратный пароход назывался «1812 год» и встретился нам «Кутузов». Это было на 101-й год после Бородинской битвы.

От прежнего остаются картины, своеобразные фотографические снимки. От путешествия по Волге я яснее всего помню одну. Мы сидим с дочкой капитана на ковре в капитанской каюте и играем во что-то скучное (дочка младше меня, да она и девочка, а я не умею играть в куклы). От палубы нас отделяет решетка от потолка до пола. Родители кричат мне: «Посмотри — Жигули! Соловьи поют». Я вижу через решетку высокий лесистый берег и слышу щелканье соловьев, но мне неловко не играть с дочкой капитана. Я долго потом жалел, что плохо видел и плохо слушал соловьев. Это ощущение упущенности возможности сохранилось и до сих пор. Но, может быть, в этом случае мое сознание не «сфотографировало» бы этот вид на Жигули через решетку?

И все же я могу сказать про себя с гордостью: «Я видел Волгу».

Заметки и наблюдения. Л. 1989.

## КРЫМ

Огромную роль в эстетическом воспитании нашей семьи сыграло пребывание на юге. Отец год работал в Одессе (1911—1912), и два лета мы провели в Крыму, в Мисхоре. Мне вспоминается запах разогретого на солнце самшита, вид от Байдарских ворот, где помещался тогда монастырь, Алупкинский парк и дворец, купания в Мисхоре среди камней (впоследствии по фотографиям я установил, что это было как раз то место, где перед тем купался после болезни Лев Толстой, спускаясь сюда из имения графини Паниной в Гаспре). Особенно эмоционально воспринималась мною маленькая полянка над морем с необыкновенно душистыми цветами. Полянку эту все называли «Батарейка», и туда чаще всего мы ходили гулять. Во время Крымской войны там размещалась небольшая батарея, чтобы воспрепятствовать возможному десанту англо-французских войск в Алупке. Здесь для меня все было слито: чувство природы и чувство истории. Последнее появилось у меня в возрасте 5—6 лет — и прежде всего на памятниках Севастопольской

обороны, по которым я любил лазать, и на Малаховом кургане, воображая себя артиллеристом у стоявших среди укреплений орудий; поражение русских войск воспринималось мною уже тогда как личное горе.

Месяцы, проведенные в Крыму, в Мисхоре, в 1911 и в 1912 годах, запомнились мне как самые счастливые в моей жизни. Крым был другой. Он был каким-то «своим Востоком», Востоком идеальным. Красивые крымские татары в национальных нарядах предлагали верховых лошадей для прогулок в горы. С минаретов раздавались унылые призывы муздзинов. Особенно красив был белый минарет в Кореизе на фоне горы Ай-Петри. А татарские деревни, виноградники, маленькие ресторанчики! А жилой Бахчисарай и романтический Чуфут-Кале! В любые парки можно было заходить для прогулок, а дав «на чай» лакеям, осматривать в отсутствие хозяев алупкинский дворец Воронцовых, дворец Паниной в Гаспре, дворец Юсуповых в Мисхоре. Никаких особых запретов в отсутствие хозяев не существовало, а так как хозяева почти всегда отсутствовали, то парадные комнаты (кроме сугубо личных) были доступны.

Береговая полоса не могла находиться в частной собственности. От Мисхора по берегу шла бетонированная дорожка до Ливадии, по которой мы всей семьей гуляли

*С. М. Лихачев с сыновьями  
Мишней и Митей*

*Алупка*



по вечерам за маяк Ай-Тодор. Никаких частновладельческих пляжей! По берегу нельзя было пройти только от Мисхора до Алупки, из-за скал. Но по высокой части шла прекрасная дорога. Все эти прогулки хорошо сохранились в моей памяти благодаря отличным фотографиям отца. Теперь многое уже нет, нет и чудесной дорожки по берегу от Алупки. «Царская тропа» к Ореанде тоже укоротилась и изменила свой вид.

В 60-е годы мы ездили в Дом творчества, в Ялту. После уже не захотелось ехать туда во второй раз — разрушать тот «маленький рай», который еще существовал в моей памяти.

Когда эта заметка была уже написана, я прочел статью Т. Братковой «Город Солнца» («Дружба народов», 1987, № 6). Ее надо прочесть и не забывать: она нужна всем, кто любит Крым.

Может быть, с тех пор у меня начала укрепляться любовь к различным «музеям под открытым небом» — будь то знаменитый памятник-«пушка» в Одессе, усадьбы-музеи, петровские домики в Петербурге, да и просто маленькие лирические памятники вроде памятника Жуковскому в Петербурге в Александровском саду, где я чаще всего гулял до «вечернего колокольчика» сторожа, когда сад запирался на ночь, или небольших памятников Петру, которых было несколько в Петербурге: например, Петр, мастерящий лодку, — на набережной у Адмиралтейства. Уже тогда в Крыму меня поразили старые деревья в Никитском саду, а в Петербурге во время неизменных праздничных прогулок на Острова я благоговейно смотрел на Петровский дуб, огороженный скромной решеткой. Стоя перед этим дубом, я шептал ему свои заветные желания: например, получить в подарок еще одну лучиночную коробочку с оловянными солдатиками или «настоящую» паровую машину, паровозик, который видел у приятеля. Странно — желания мои исполнялись, и я приписывал исполнение их не внимательности родителей, которые, конечно, о них догадывались, но доброму и всесильному дубу. Язычество проснулось у меня вместе с чувством истории очень рано.

Заметки и наблюдения. Л. 1989.

## ГИМНАЗИЯ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВОГО ОБЩЕСТВА

Осенью 1914 года я поступил в школу — в гимназию Человеколюбивого общества, ту самую, в которой одно время учился А. Н. Бенуа. Она находилась на Крюковом канале против колокольни Чевакинского, недалеко от дома Бенуа — того самого, от которого отходила конка в Коломну. На этой конке я любил ездить со своей нянькой, забравшись на империал. Какой волшебный вид на город открывался с империала!

Учиться я поступил восьми лет, и сразу в старший приготовительный класс. Родители выбирали не школу, а классного наставника. И он в этом старшем приготовительном классе был действительно замечательным. Капитон Владимирович! Он был строг, представителен, умен и отечески добр, когда это было можно. Это был воспитатель с большой буквы. Ученики его уважали и любили. Ученики! Но они были со мной совсем другими, и у меня с ними сразу пошли конфликты. Я был новичок, а они уже учились второй год, и многие перешли из городского училища. Они были «опытными» школьниками. Однажды они на меня накинулись с кулаками. Я прислонился к стене и, как мог, отбивался от них. Внезапно они отступили. Я почувствовал себя победителем и стал на них наступать. Но я не видел инспектора, которого заметили они. В результате в дневнике у меня появилась запись: «Бил кулаками товарищей. Инспектор Мамай». Как я был поражен этой несправедливостью! В другой раз они бросали в меня на улице снежками и подвели к маленькому оконцу, из которого за поведением учеников наблюдал все тот же инспектор Мамай. В дневнике появилась вторая запись: «Шалил на улице. Инспектор Мамай». И родителей вызвали к директору.

Как я не хотел ходить в школу! По вечерам, становясь на колени, чтобы повторять вслед за матерью слова молитв, я еще прибавлял от себя, утыкаясь в подушку: «Боженька, сделай так, чтобы я заболел». И я заболел: у меня стала подниматься каждый день температура — на две-три десятых градуса выше 37. Меня взяли из школы, а чтобы не пропустить год, наняли репетитора. Это была польская школьница-беженка (шла зима 1915 года). Ма-

ленькая, худенькая. И нанималась она заниматься со мной за плату вместе с обедом. За обеденным столом она казалась совсем маленькой, и отец из жалости к ней подпилил ножки обеденного стола. Потом этот обеденный стол всегда приходилось ставить на стеклянные подножки от рояля, чтобы вернуть ему прежнюю высоту. От этой польской девочки я получил еще один урок национального воспитания. Рассказывая мне русскую историю, она увлеклась и стала говорить про польскую историю, а я взял да и выпалил ей в лицо: «Никакой польской истории нет». Я, очевидно, спутал историю с учебником истории. Учебника истории Польши действительно на русском языке не было. Но польская школьница стала мне возражать и вдруг заплакала. Этих слез мне и сейчас стыдно...

Прошлое — будущему. Л. 1985.

## ГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ К. И. МАЯ

В 1915 году я поступил в гимназию и реальное училище К. И. Мая на 14-й линии Васильевского острова. К этому времени мой отец получил в заведование электри-

*Петербург. Почтовая карета*

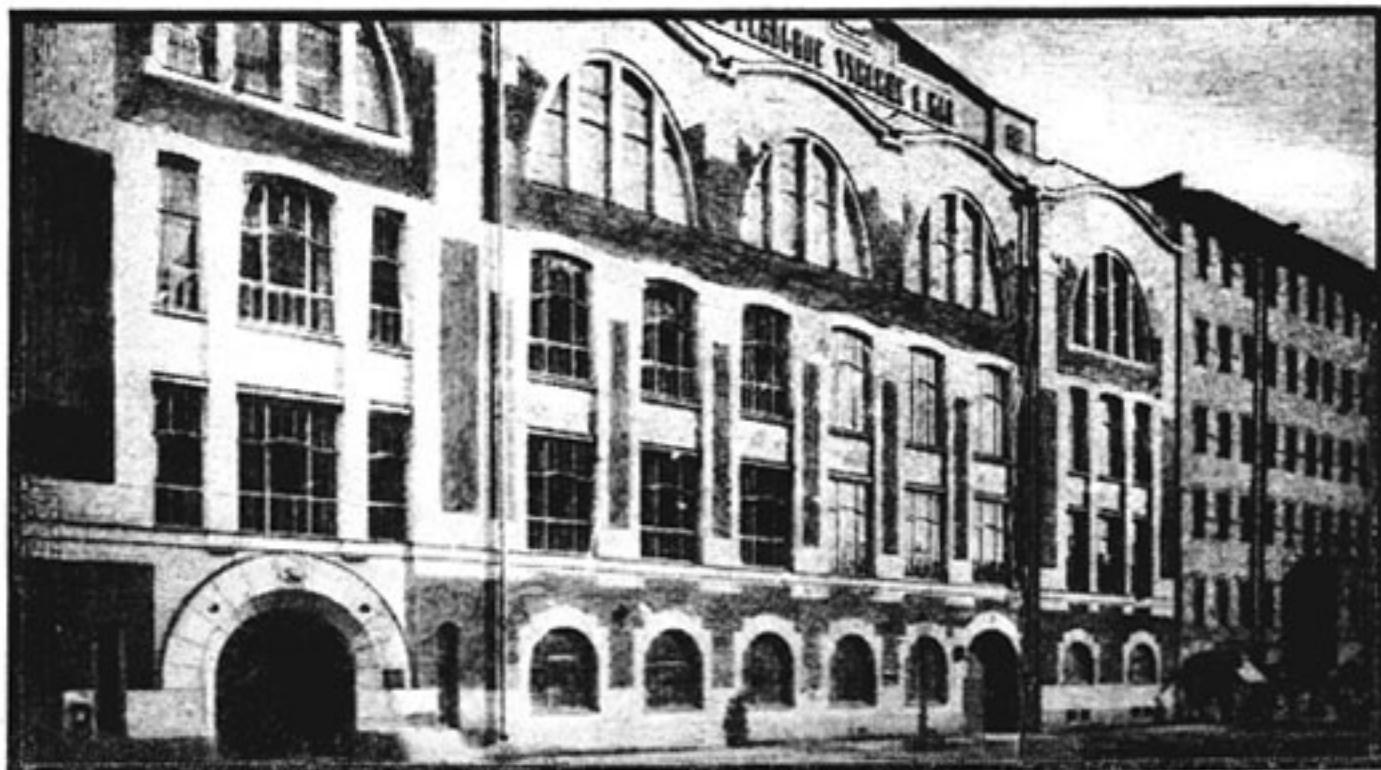


ческую станцию при Главном управлении почт и телеграфов и казенную квартиру при этой станции. День и ночь квартира наша содрогалась от действия паровой машины. Сейчас этой станции и в помине нет. Двор пуст, нет и нашей квартиры. Но тогда посещение станции доставляло мне большое удовольствие. Громадное колесо вращалось поршнём, оно блестело от масла, было необычайно красивым. В училище Мая мне надо было ездить на трамвае, но пробиться в трамвай было чрезвычайно трудно: площадки были забиты солдатами («нижними чинами», как их называли). Им разрешалось ездить бесплатно, но только на площадках вагонов. Жили мы рядом с Конногвардейским бульваром, и я наслаждался тогда вербными базарами, где можно было потолкаться около букинистических ларьков, купить народные игрушки и игрушки специально вербные (вроде «американских жителей», чертей на булавках для прикалывания к пальто, акробатов на трапециях, «тещиных языков» и проч.) и полакомиться вербными кушаньями.

Вербная неделя была лучшей неделей для детей в старом Петрограде, и именно здесь можно было почувствовать народное веселье и красоту народного искусства, привозимого сюда из всего Заонежья.

Ведь Петербург-Петроград не только стоял лицом к Европе, что ощущалось прежде всего в его пестром насе-

Гимназия К. И. Мая



лении (немцы, французы, англичане, шведы, финны, эстонцы наполняли собой и школу К. И. Мая), но за его спиной находился весь Русский Север с его фольклором, народным искусством, народной архитектурой, с поездками по рекам и озерам, близостью к Новгороду и проч. и проч.

О гимназии и реальном училище К. И. Мая написано много. Есть специальные юбилейные издания, много написано в «Воспоминаниях» А. Н. Бенуа, изданных в серии «Литературные памятники», есть и статья в журнале «Нева» (1983, № 1, с. 142—195). Не буду повторять всего того хорошего, что о ней уже сообщалось; отмечу только, что школа эта сыграла большую роль в моей жизни. Я чувствовал себя там прекрасно и, если бы не трудности дороги, не мог бы и желать лучшего.

Я взрослел и был как раз в таком возрасте, когда особенно тяжело переживаются военные неудачи. Обсуждение военных неудач и всех возмутительных неурядиц в правительстве и в русской армии занимало изрядное место в вечерних семейных разговорах, тем более что все происходившее было как будто тут же, рядом. Распутин появлялся в ресторанах и домах, которые я видел, мимо которых гулял, солдат обучали совсем рядом на любой свободной площади, спектакли начинались с томительного исполнения всех гимнов союзных России держав, и

*Григорий Распутин среди поклонниц и поклонников*



прежде всего с бельгийского гимна «Барбансон». Национальное чувство и ущемлялось, и подогревалось. Я жил известиями с «театра военных действий», слухами, надеждами и опасениями.

Школа К. И. Мая наложила сильный отпечаток и на мои интересы, и на мой жизненный, я бы сказал мировоззренческий, опыт. Класс был разношерстный. Учился и внук Мечникова, и сын банкира Рубинштейна, и сын швейцара. Преподаватели тоже были разные. Старый майский преподаватель Михаил Григорьевич Горохов обучал нас два года перспективе почти как точной науке; преподаватель географии изумительно рассказывал о своих путешествиях и по России, и за границей, демонстрируя диапозитивы; библиотекарь умела порекомендовать каждому свое. Я вспоминаю те несколько лет, которые я провел у Мая, с великой благодарностью. Даже почтенный швейцар, который приветствовал нас по-немецки, а прощался по-итальянски, учил нас вежливости собственным примером — как много все это значило для нас, мальчиков!

Учителя не заставляли нас выдавать «зачинщиков» шалостей, разрешали на переменах играть в шумные игры и возиться. На уроках гимнастики мы главным образом играли в активные игры — такие, как лапта, горелки, хэндбол (ручной мяч). На школьные каникулы выезжали всей школой в какое-то имение на станцию

*Фонтанка*



Струги-Белые по дороге на Псков. Мы выпускали разные классные журналы и даже писали и размножали собственные сочинения в духе повестей Буссенара и Луи Жаколио без преподавательского надзора.

Я жалею, что не мог ходить на все вечерние занятия и школьные кружки, — уж очень трудная была дорога в переполненных трамваях.

## Уроки рисования в училище Мая

Уроки рисования в училище Мая, как я уже сказал, вел наш классный наставник М. Г. Горохов. Он всегда входил в класс серьезный, как бы «выполняющий высокий долг» (а долг его и в самом деле был высоким). Часто читал нам нотации. Учил нас корректности в обращении друг с другом, манере держаться. Помню, что ставил нам в пример учеников старших классов, и в частности ныне здравствующего архитектора, а тогда ученика старших классов — Игоря Ивановича Фомина.

Но самое удивительное были уроки рисования М. Г. Горохова. Два года мы проходили с ним перспективу. По его проекту был создан в новом здании училища Мая кабинет для уроков рисования. Там были удобные пюпит-

*С учителем  
физкультуры  
Н. А. Низовцевым*

*О. Э. Мандельштам (один  
из посетителей кружка  
в училище К. И. Мая)*



ры, на которые мы накалывали бумагу для рисунков. Со всех мест было хорошо видно натуру, а натура состояла для уроков перспективы главным образом из проволочных каркасов. Перспектива была точнейшая наука, учившая нас думать. Уроки перспективы были сродни урокам геометрии. С тех пор я умею замечать ошибки в перспективе.

И вместе с тем уроки рисования были уроками труда, ручного труда, они учили уметь работать руками. Даже стирать резинкой неверно нанесенную карандашную линию надо было уметь. И этому М. Г. Горохов нас тоже учил. А что стоили походы с ним на выставки, хотя принимать участие в этих походах мне приходилось редко.

### Умный «ручной труд»

В годы первой мировой войны в училище Мая был введен урок ручного труда. Чем это диктовалось, я не знаю. Но воспитательное значение он имел очень большое.

Сравнительно молодой столяр говорил нам: «Когда работаешь, надо думать». Я это запомнил. Он учил нас, как без гвоздей делать различные деревянные поделки — полки, рамки, табуретки, как делать различные сочленения, чтобы вещь крепко держалась без гвоздей, как выбирать дерево для работы, как обходить сучки, как работать рубанком, полировать. Закончив один какой-то прием, мы переходили к другому. «Ручной труд», так назывался урок, был уроком творчества. От менее сложных приемов мы переходили к более сложным. И хотя в классе было много детей работников отнюдь не ручного труда — уроки эти нам нравились. Единственное, что нам мешало, это то, что нас было много: человек двадцать, а нашему преподавателю надо было показывать каждому в отдельности. Объяснив нам всем приемы работы, преподаватель ручного труда подходил к каждому из нас (верстаков и столярных инструментов было много) и каждому показывал отдельно — как держать инструмент, как им работать. Многие, конечно, понимали не сразу, стояли и ожидали, пока к ним подойдет наш милый интеллигентный рабочий-столяр.

Ручной труд был трудом умственным и давал нам радость овладения новым.

Само собой, что сделанные нами полочки, коробочки и скамейки мы уносили домой, и сделанным нами гордилась вся семья.

## Внешние впечатления

Ни моя семья, ни я, одиннадцати-двенадцатилетний мальчик, разумеется, ничего толком не понимали, что происходит, и происходит почти на наших глазах, так как жили мы на Новоисаакиевской улице вблизи Исаакиевской площади. Семья слабо разбиралась в политике.

Когда в первые дни Февральской революции «гордовики» (так называли в Петрограде городовых) захватили вышку Исаакиевского собора и чердаки гостиницы «Астория» и оттуда обстреливали любую собиравшуюся толпу, мои родители возмущались «гордовиками» и боялись приближаться к этим местам. Но когда «гордовиков» стащили с их позиций и разъяренная толпа убивала их, родители возмущались жестокостью толпы, не особенно входя в дальнейшее обсуждение событий.

Когда мы с отцом ходили на Невский, чтобы посмотреть на непрерывно и, по-видимому, без особой цели маршировавшие под оркестры полки, звуки маршей поднимали нам настроение, но когда эти же полки шли нестройными рядами, мы огорчались, ибо помнили, с

*А. Ф. Керенский  
(1917 г.)*

*Николай II (1916 г.)*

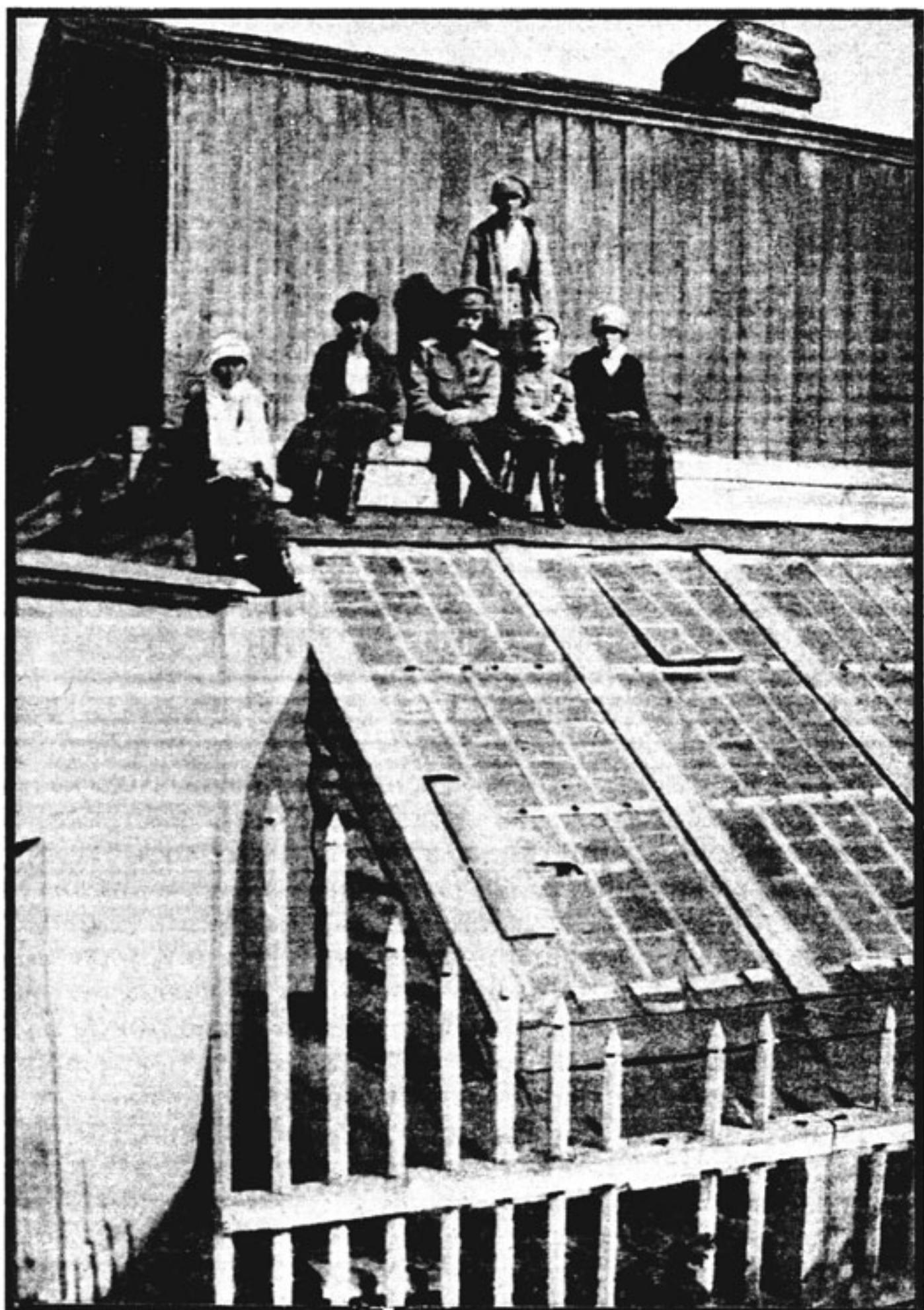


каким блеском шел до войны Конногвардейский полк по воскресеньям в свою полковую Благовещенскую церковь, с каким балетным искусством вышагивал впереди командир полка — полковник из русских немцев, как блестели кирасы и каски, как лихо крутил палку тамбурмажор перед оркестром.

Да и до революции... Когда мы с отцом гуляли по Большой Морской и видели, как строят дом и носят тяжесть на своих спинах обутые в лапти, чтобы не скользить, крестьяне, приехавшие в город на заработки, я почти задыхался от жалости и вспоминал с отцом «Железную дорогу» Некрасова. То же самое происходило на любой набережной в местах, где разрешалось разгружать барки с кирпичом и дровами. Здоровенные катали вкатывали быстро-быстро свои тачки с тяжеленным грузом, чтобы взобраться, не останавливаясь, по узким доскам, перекинутым с бортов барж на набережную. Мы жалели каталей, старались представить себе, как они живут в отрыве от семей на этих барках, как замерзают по ночам, как тоскуют по своим детям, ради которых они, в сущности, и зарабатывали свой хлеб тяжелым трудом. Но когда эти же бывшие грузчики и носильщики, мастеровые и мелкие служащие пошли по бесплатным билетам на балет в Мариинский театр и

*Солдаты Волынского полка на Литейном проспекте.  
Петроград*





Николай II с семьей в Екатеринбурге под арестом

заполнили собой партер и ложи, родители жалели о былом бриллиантовом блеске голубого Мариинского зала. Единственное, что на тех представлениях радовало родителей, — это то, что балерины танцевали не хуже прежнего. Спесивцева с Люком были так же великолепны, раскланивались перед новой публикой так же, как и перед старой. А ведь как это было замечательно! Какой урок уважения к новому зрителю давал нам всем тогдашний театр!

## Жизнь в Первой государственной типографии

Отец был искренне рад и горд, когда рабочие электрической станции в Первой государственной типографии (теперь это Печатный Двор) выбрали его своим заведующим. Мы переехали с Новоисаакиевской в центре Петрограда на казенную квартиру при типографии на Петроградской стороне. Это была осень 1917 года. События Октябрьской революции оказались как-то в стороне от меня. Я их плохо помню.

Жизнь в типографии меня во многом воспитала. Типографии я обязан своим интересом к типографскому делу. Запах свежеотпечатанной книги для меня и сейчас — лучший из ароматов, способный поднять настроение. Я свободно ходил по типографии, знакомился с наборщиками, считавшими себя среди рабочих интеллигентами, носившими длинные волосы (прическа эта называлась «марксистка»), часто писавшими стихи и гордившимися своей работой. Отец постепенно стал специалистом по типографским машинам. Вскоре после революции для типографии были закуплены за рубежом печатные машины, в которых отец один и смог разобраться.

Типография имела большой театральный зал, где для рабочих и служащих выступали лучшие певцы и актеры города и даже однажды происходил публичный диспут на тему «есть Бог или нет» между А. В. Луначарским и обновленческим митрополитом Александром Введенским... Помню парадоксы того времени: толпа верующих после диспута хотела побить именно митрополита, и отец по просьбе начальства спасал его, выйдя с ним на другую улицу через черный ход нашей квартиры.

Жизнь в типографии многому меня научила, многое раскрыла, объяснила. Но, может быть, не последнюю



*С. М. Лихачев,  
отец Д. С. Лихачева*

*Первая государственная типография*

роль сыграло и то, что на некоторое время отец получил на хранение библиотеку директора ОГИЗа — небезызвестного в тогдашних литературных кругах Ильи Ионовича Ионова. В его библиотеке были эльзевиры, альдины, редчайшие издания XVIII века, собрания альманахов, дворянские альбомы. Библия Пискатора, роскошнейшие юбилейные издания Данте, издания Шекспира и Диккенса на тончайшей индийской бумаге, рукописное «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, книги из библиотеки Феофана Прокоповича, множество книг с автографами современных писателей (запомнились письма-надписи на сборниках стихов Есенина, А. Ремизова, А. Н. Толстого и т.д.). Получил отец в подарок и некоторые вещи — посмертную маску, снятую Манизером с головы А. Блока новым способом — так, чтобы голова была цельной, не только лицо. В ней трудно было узнать Блока — совершенно лысый, изможденный, старый. Мaska-голова эта пропала.

Библиотека была получена нами при следующих обстоятельствах. У нас была на Печатном Дворе огромнейшая казенная квартира, в которой мы с братом катались даже на велосипеде. И. И. Ионов получил назначение торгпредом в США и, зная честность отца, существование у него большой квартиры, свез основную часть своей библиотеки к нам. Возвратился И. И. Ионов уже не в

Ленинград, а в Москву. Отец немедленно по возвращении Ионова погрузил все книги в контейнеры и отправил их ему в Москву. Там вскоре Ионов был арестован.

Несколько лет существования великолепной библиотеки в нашей квартире не прошли для меня даром. Я рылся и рылся в ней, читал, смотрел, любовался изданиями и рукописями, гравюрами и фотографиями с памятников искусства. Мне не хватало образования,—иначе я бы еще больше смог получить для себя от этой необыкновенной библиотеки. На многое я просто не обратил внимания.

Сам И. И. Ионов не имел систематического образования. Он в свое время был арестован царским правительством в Одессе еще гимназистом и получил пожизненное заключение, которое и проводил в Шлиссельбургской тюрьме, откуда вышел глубоко больным человеком и с невероятными провалами в образовании, за что над ним насмехались многие, не зная, что при всем этом он был начитан в самых неожиданных областях, так как имел возможность в тюрьме получать книги.

Заметки и наблюдения. Л. 1989.

## ШКОЛА ЛЕНТОВСКОЙ

Первое время после переезда в казенную квартиру на Петроградской стороне (Гатчинская, 16, или Лахтинская, 9) я продолжал учиться у Мая. В ней я пережил самые первые реформы школы, переход к трудовому воспитанию (уроки столярного искусства сменились пилкой дров для отопления школы), к совместному обучению мальчиков и девочек (к нам в школу перевели девочек из соседней школы Шаффе) и т. д. Но ездить в школу в переполненных трамваях стало совершенно невозможно, ходить — еще труднее, так как затруднения в тогдашнем Петрограде с едой были ужасными. Мы ели дуранду (спрессованные жмыхи), хлеб из овса с кострицей, иногда удавалось достать немного мороженой картошки, за молоком ходили пешком на Лахту и получали его в обмен на вещи. Меня перевели поблизости в школу Лентовской на Плуталовой улице. И снова я попал в замечательное училище. Сравнительно со школой Мая «Лентовка» была бедна оборудованием и помещениями, но была порази-

тельна по преподавательскому составу. Школа образовалась после революции 1905 года из числа преподавателей, изгнанных из казенных гимназий за революционную деятельность. Их собрала театральный антрепренер Лентовская, дала денег и организовала частную гимназию, куда сразу стали отдавать своих детей левонастроенные интеллигенты. У директора (Владимира Кирилловича Иванова) в директорском его кабинете была библиотечка революционной марксистской литературы, из которой он секретно давал читать книги заслуживающим доверия ученикам старших классов.

Между учениками и преподавателями образовалась тесная связь, дружба, «общее дело». Учителям не надо было наводить дисциплину строгими мерами. Учителя могли постыдить ученика, и этого было достаточно, чтобы общественное мнение класса было против провинившегося и озорство не повторялось. Нам разрешалось курить, но ни один из аборигенов школы этим правом не пользовался.<sup>1</sup>

Об одном из преподавателей этой школы, Леониде Владимировиче Георге, я написал отдельный очерк. Но мог бы написать и о многих других: Александре Юльевиче Якубовском (нашем преподавателе истории, будущем известном востоковеде), Павле Николаевиче Андрееве (преподавателе рисования, брате Леонида Андреева), Татьяне Александровне Ивановой (нашем преподавателе географии) и о многих других. Школа была близко, и я постоянно посещал различные кружки, главным образом кружки литературы и философии, в занятиях которых принимали участие и многие «взрослые». Об одном из таких участников наших кружков — Евгении Павловиче Иванове, друге Александра Блока, я немного написал в статье «Из комментария к стихотворению А. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека...» в книге «Литература — реальность — литература» (второе издание — 1984 г.).

Один летний месяц имел огромное значение для формирования моей личности, моих интересов и, я бы сказал, моей любви к Русскому северу: школьная экскурсия в 1921 году на север — по Мурманской железной дороге в Мурманск, оттуда на паровой яхте в Архангельск вокруг Кольского полуострова по Белому морю, на пароходе по Северной Двине до Котласа и оттуда по железной дороге в Петроград. Двухнедельная эта школьная экскурсия сы-

грала огромную роль в формировании моих представлений о России, о фольклоре, о деревянной архитектуре, о красоте русской северной природы. Путешествовать нужно по родной стране как можно раньше и как можно чаще. Школьные экскурсии устанавливают и добрые отношения с учителями, вспоминаются потом всю жизнь. В школе я наловчился рисовать карикатуры на учителей: просто — одной-двумя линиями. И однажды на перемене нарисовал всех на классной доске. И вдруг вошел преподаватель. Я обмер. Но преподаватель подошел, смеялся вместе с нами (а на доске был изображен и он сам) и ушел, ничего не сказав. А через два-три урока пришел в класс наш классный наставник и сказал: «Дима Лихачев, директор просит вас повторить все ваши карикатуры на бумаге для нашей учительской комнаты».

Были у нас умные педагоги.

В школе Лентовской поощрялось собственное мнение учеников. В классе часто шли споры. С тех пор я стремлюсь сохранять в себе самостоятельность во вкусах и взглядах.

Для моего любимого преподавателя литературы Леонида Владимировича Георга существовал прежде всего Пушкин, но существовала и вся другая литература — не скажу даже, что на втором плане. Когда он чем-нибудь интересовался, это выходило на первый план.

*Русский север. Церковь св. Лазаря XIV в.*

*Дом Елизарова. Взвод*



Кстати, он очень ценил и поощрял А. Введенского, который уже в школе (он был старше меня на 1 или 2 класса) писал свои «обэриутские» стихи.

В разные годы, в разных условиях мне нравятся совершенно различные произведения западных литератур. То тянет перечитать Диккенса, то Джойса, то Пруста, то Шекспира, то Норвида... Мне легче перечислить тех авторов, которых мне не хочется перечитывать. А вообще-то я очень жаден к перечитыванию. А ведь я не перечислил еще философов, которых люблю и мнение которых я могу даже, как бы играя, временно и с удовольствием разделять. Ведь философские теории и мироощущения имеют для меня еще и эстетическую ценность. Философы — художники, и мы не должны закрываться от них ширмами собственных взглядов. Впрочем, вопрос этот очень сложный — как воспринимать философские концепции. Возражая и «отругиваясь», мы многое себя лишаем.

Прошлое — будущему. Л. 1985.

## ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ ГЕОРГ

Леонид Владимирович Георг принадлежал к тем старым «учителям словесности» в наших гимназиях и реальных училищах XIX и начала XX века, которые были под-

Кижи



лиными «властителями дум» своих учеников и учениц, окружавших их то серьезной любовью, то девчоночным обожанием.

Именно эти старые «учителя словесности» формировали не только мировоззрение своих учеников, но воспитывали в них вкус, добрые чувства к народу, интеллектуальную терпимость, интерес к спорам по мировоззренческим вопросам, иногда интерес к театру (в Москве — к Малому театру), к музыке.

Леонид Владимирович обладал всеми качествами идеального педагога. Он был разносторонне талантлив, умен, остроумен, находчив, всегда ровен в обращении, красив внешне, обладал задатками актера, умел понимать молодежь и находить педагогические выходы из самых иногда затруднительных для воспитателя положений.

Расскажу об этих его качествах.

Его появление в коридоре, на перемene в зале, в классе, даже на улице было всегда заметно. Он был высок ростом, лицо интеллигентное и чуть насмешливое, но при этом доброе и внимательное. Белокурый, со светлыми глазами, с правильными чертами лица (может быть, чуть коротковат был нос, хотя правильная его форма скрывала этот недостаток), он сразу привлекал к себе внимание. На нем всегда хорошо сидел костюм, хотя я никогда не помню его в чем-либо новом: времена были тяжелые (я учился у него в 1918—1923 гг.), и где было взять это новое на скромное учительское жалованье!

Мягкость и изящество в нем доминировали. Ничего агрессивного не было и в его мировоззрении. Ближе всего он был к Чехову — его любимому писателю, которого он чаще всего читал нам на своих «заместительских уроках» (т. е. уроках, которые он давал вместо своих часто хворавших тогда товарищей-педагогов).

Эти «заместительские уроки» были его маленькими шедеврами. Он приучал нас на этих уроках к интеллектуальному отношению к жизни, ко всему окружающему. О чем только не говорил он с нами! Он читал нам своих любимых писателей: я помню чтение «Войны и мира», пьес Чехова («Чайки», «Трех сестер», «Вишневого сада»), рассказов Мопассана, былин «Добрыня Никитич» и «Соловей Будимирович» («Добрыню Никитича» Леонид Влади-



Петербург. Медный всадник

Л. В. Георг

димирович читал на родительском собрании для родителей — их он также воспитывал), «Медного всадника»... Всего не перечислишь. Он приходил в класс с французскими текстами и показывал нам, как интересно учить французский язык: он разбирал рассказы Мопассана, рылся при нас в словарях, подыскивал наиболее выразительный перевод, восхищался теми или иными особенностями французского языка. И он уходил из класса, оставляя в нас любовь не только к французскому языку, но и к Франции. Стоит ли говорить, что все мы после этого начинали как могли изучать французский. Урок этот был весной, и помню, что я все лето потом занимался только французским... На иных своих «заместительских уроках» он рассказывал нам о том, как он слушал Кривополенову, показывая, как она пела, как говорила, как делала во время пения свои замечания. И все мы вдруг начинали понимать эту русскую бабушку, любить ее и завидовали Леониду Владимировичу, что он ее видел, слышал и даже разговаривал с ней. Но самыми интересными из этих «заместительских уроков» были рассказы о театре. Еще до выхода в свет знаменитой книги Станиславского «Моя жизнь в искусстве» он нам рассказывал о теории Станиславского, последователем которой он был не только в своей актерской практике, но и в педагогике. Его рассказы о постановках и знаменитых актерах как-то органически переходили в занятия по той или иной пьесе.

которую он великолепно ставил с учениками в школе. Постановка «Маленьких трагедий» Пушкина была его огромным успехом не только как педагога, не только как великого режиссера (я не побоюсь назвать его именно «великим»), но и как художника-декоратора. Из цветной бумаги вместе с помогавшими ему учениками он создал необычайно лаконичные декорации к своим постановкам. Помню в «Каменном госте» черные или какие-то очень темные (зеленые? синие?) кипарисы в виде остроконечных конусов, белую колонну в каком-то интерьере — тоже вырезанную из бумаги, которую мой отец добывал ему из отходов на Печатном Дворе, где мы тогда жили.

Помню, как он воспитывал в своих учениках актеров. Это был именно его прием — прием режиссера-воспитателя. Он заставлял своих актеров носить костюм своей роли в обыденной жизни. На уроках сидел Дон Гуан, загrimированный, в испанском костюме и со шпагой, сидела Дона Анна в длинном платье. А на переменах они гуляли и даже бегали, но только так, как должен был бы бегать Дон Гуан или Дона Анна в какой-то сложной воображаемой ситуации (актер должен был играть все время, но если он хотел порезвиться или сделать что-либо необычное для своей роли, он обязан был придумать мотивировку, создать себе соответствующую «ситуацию»). Носить платье Леонид Владимирович учил прежде всего — прежде, чем входить в роль. Актер должен был чувствовать себя совершенно свободно в плаще, в длинной юбке, свободно играть шляпой, уметь ее небрежно бросить на кресло, легко выхватить шпагу из ножен. Незаметно Леонид Владимирович следил за таким костюмированным учеником и умел его поправить одним или двумя замечаниями, сделанными всегда тактично и с необыдным юмором.

Леонид Владимирович был поклонником психолога Джемса. Помню, как хорошо объяснял он нам положение Джемса: «Мы не оттого плачем, что нам грустно, но потому грустно, что мы плачем». И это положение он сумел применить в своей педагогической практике. Одному крайне застенчивому мальчику он предложил изменить походку. Он сказал ему, чтобы он двигался быстрее, делал шаги шире и непременно размахивал руками, когда ходил. Встречая его на перемене, он часто говорил ему: «Машите руками, машите руками». Кстати, он обра-

щался к ученикам на «вы», как это было принято в старых гимназиях, и редко отступал от этого правила. Он воспитывал в своих учениках самоуважение и требовал от них уважения к другим, к своим товарищам. Разбирая какое-нибудь происшествие в классе, он никогда не требовал, чтобы ему выдали заслуживающегося или виновника. Он добивался того, чтобы провинившийся сам назвал себя. Выдать товарища было для него недопустимым, как, впрочем, и для всех хороших педагогов старого времени.

Когда я учился в Лентовке, у Леонида Владимировича был тенор. Впоследствии у него «открылся» баритон, и, говорят, довольно хороший. В те времена в каждом классе стоял рояль, из реквизированных у буржуев. Леонид Владимирович подходил к роялю и показывал нам на нем то особенности музыкального построения у Чайковского, которого он очень любил (в те времена было модно не любить Чайковского, и Леонид Владимирович посмеивался над этой модой), то тот или иной мотив былины (помню, как он пел заслуживающуюся былину «Соловей Будимирович», рассказывая об использовании этой былины в «Садко» Римского-Корсакова).

С дурными привычками или безвкусицей в одежде учениц Леонид Владимирович боролся мягкой шуткой. Когда наши девочки повзрослели и стали особенно следить за своими прическами и походкой, Леонид Владимирович, не называя никого из них по имени, рассказывал нам, что происходит в этом возрасте, как девочки начинают ходить, вихляя бедрами (и рискуя, по его словам, получить «вывих таза», им, конечно, придуманный), или устраивают себе кудельки, и в чем состоит вкус в одежде. Он даже читал нам в классе о Дж. Бреммеле из книги М. Кузьмина «О дендизме», но не для того, чтобы восславить дендизм, а, скорее, для того, чтобы раскрыть нам сложность того, что может быть названо красивым поведением, хорошей одеждой, умением ее носить, выслушать фатовство и пижонство у мальчишек.

Немало лет прошло с тех пор, но как много запомнилось из его наставлений на всю жизнь! Впрочем, то, что он говорил и показывал нам, нельзя назвать наставлениями. Все говорилось ненарочито, при случае, шутливо, мягко, «по-чеховски».

В каждом из учеников он умел открыть интересные

стороны — интересные и для самого ученика, и для окружающих. Он рассказывал об ученике в другом классе, и как было интересно узнать об этом от других! Он помогал каждому найти самого себя: в одном он открывал какую-то национальную черту (всегда хорошую), в другом нравственную (доброту или любовь «к маленьким»), в третьем — вкус, в четвертом — остроумие, но не просто остроумие, а умел охарактеризовать особенность его остроумия («холодный остряк», украинский юмор — и непременно с пояснением, в чем состоит этот украинский юмор), в пятом открывал философа и т.д., и т.п.

Мой друг Сережа Эйнерлинг увлекался в школе Ницше, а другой друг Миша Шапиро — О. Уайльдом. Разумеется, Леонид Владимирович знал об этих увлечениях и как-то рассказывал в классе и о Ницше, и об Уайльде. Он показывал ценные стороны их отношения к действительности, но так, что нам всем становилось ясным: тот и другой интересны, но нельзя ограничиваться ими. Надо быть всегда шире своих учителей. Он помог моим друзьям сойти со своей «мировоззренческой платформы», оставшись при этом благодарными своим мальчишеским кумирам.

Для самого Леонида Владимира не было кумиров. Он с увлечением относился к самым разнообразным художникам, писателям, поэтам, композиторам, но его увлечения никогда не переходили в идолопоклонство. Он умел ценить искусство по-европейски. Пожалуй, самым любимым его поэтом был Пушкин, а у Пушкина — «Медный всадник», которого он как-то поставил с учениками. Это было нечто вроде хоровой декламации, которая была поставлена как некое театральное представление, главным в котором был сам текст, пушкинское слово. На репетициях он заставлял нас думать — как произнести ту или иную строфу, с какими интонациями, паузами. Он показывал нам красоту пушкинского слова. И одновременно он неожиданно показывал нам и пушкинские «недоделки» в языке. Вот пример, запомнившийся мне с тех времен: «Нева всю ночь // Рвалася к морю против бури. // Не одолев их буйной дури... // И спорить стало ей невмочь...». Такие же недоделки, если не ошибки, умел он найти в самых известных произведениях живописи, скульптуры, музыки. Он говорил как-то, что у Венеры Милосской ноги чуть короче, чем следует. И мы

это начинали видеть. Разочаровывало ли это нас? Нет, наш интерес к искусству от этого возрастил.

Леонид Владимирович был очень широк в своих эстетических вкусах. В нашей школе учились некоторые из будущих «обэриутов». Как сейчас помню Александрова. Уже окончив школу, он пришел как-то на заседание школьного литературного кружка и читал там свои заумные стихи. Леонид Владимирович с очень большим интересом отнесся к его стихам и, выбрав в одном из них самую бессмысленную строку, со смехом и одобрением ее повторял, а потом в этой строке повторил одно только самое в них «острое» слово — «воротнички».

В школе Леонид Владимирович организовал самоуправление КОП (я уже забыл, как расшифровывается это сокращение). Я почему-то очень был против этой «лицемерной», как мне казалось, затеи. Я доказывал в своем классе, что настоящего самоуправления быть не может, что КОП не годится и как некая игра, что все эти заседания, выборы, выборные должности — только напрасная потеря времени, а нам надо готовиться поступать в вуз. Я как-то стал вдруг действовать против Леонида Владимировича. Моя любовь к нему почему-то перешла в крайнее раздражение против него. Весь класс наш отказался принимать участие в КОПе. Мы не ограничились этим, но агитировали и в других классах против КОПа. Леонид Владимирович сказал по этому поводу моему отцу: «Дима хочет показать нам, что он совсем не такой, каким он нам представлялся раньше». Он был явно сердит на меня. Но в класс он к нам пришел, как всегда, спокойный и чуть-чуть насмешливый и предложил нам рассказать ему все наши мысли по поводу КОПа, внести свои предложения. Он терпеливо выслушал все, что мы думали о КОПе. И он нам не возражал. Он только спросил нас: что же мы предлагаем? К позитивной программе мы были совершенно не готовы. И он помог нам. Он обратил внимание на те наши высказывания, где мы признавали, что в школе некому выполнять тяжелые работы, некому пилить дрова, некому таскать рояли (почему-то приходилось часто переносить рояли из одного помещения в другое). И он предложил нам: пусть класс не входит в КОП, пусть он будет организован так, как он хочет, или даже не организован вовсе; но пусть класс помогает школе в тяжелой работе, на которую нельзя нанять лю-

дей со стороны. Это оказалось для нас приемлемым. Конечно, мы были в школе самые старшие и самые сильные; конечно, мы не могли допустить, чтобы девочки из младших классов выполняли за нас трудные работы. Мы будем все это делать, но мы не хотим никакой организации. Леонид Владимирович сказал на это: «Но назвать вас все же как-то надо?» Мы согласились. Он тут же предложил: «Давайте без претензий: "самостоятельная группа", или короче — "самогруппа"». Мы согласились и на это. Таким образом, незаметно для нас он прекратил весь наш «бунт», и мы вошли в школьное самоуправление как его очень важная и действительно ценная часть.

Жил Леонид Владимирович тяжело. Педагоги получали тогда очень мало. Иногда устраивались в их пользу концерты. Леонид Владимирович долго отказывался, но однажды и в его пользу пришли в школу играть знакомые ему актеры.

Приходилось ему читать лекции и в совсем непривычной аудитории. Однажды в Ольгине, где мы жили на даче, появились объявления о том, что будет дан концерт из произведений Чайковского, а вступительную лекцию прочтет Л. В. Георг. Концерт был в жалком театральном помещении, которое не использовалось еще с 1915 года. Слушатели явно не понимали лекции, и нам было очень жаль Леонида Владимира.

Вскоре после окончания моей школы он заболел, кажется, сыпным тифом. Болезнь испортила сердце. Я встретил его в трамвае, и он мне показался потолстевшим. Леонид Владимирович сказал мне: «Не располнел, а распух я!» Затем наступила пора, в которой Леонид Владимирович являлся нам, его ученикам, только в воспоминаниях. Более полувека помню я его так ясно, как никого из других своих учителей. Помню его высокий очень красивый лоб...

Аврора. 1981. № 9.

## УНИВЕРСИТЕТ

Наиболее важный и в то же время наиболее трудный период в формировании моих научных интересов, конечно, университетский.



Университет

Я поступил в Ленинградский университет несколько раньше положенного возраста: мне не было еще 17 лет. Не хватало нескольких месяцев. Принимали тогда в основном рабочих. Это был едва ли не первый год приема в университет по классовому признаку. Я не был ни рабочим, ни сыном рабочего, а — обычновенного служащего. Уже тогда имели значение записочки и рекомендации от влиятельных лиц. Такую записочку, стыдно признаться, отец мне добыл, и она сыграла известную роль при моем поступлении. Университет переживал самый острый период своей перестройки. Активно способствовал или даже проводил перестройку «красный профессор» Николай Севастьянович Державин — известный болгарист и будущий академик.

Появились профессора «красные» и просто профессора. Впрочем, профессоров вообще не было — звание это, как и ученые степени, было отменено. Защиты докторских диссертаций совершились условно. Оппоненты заключали свои выступления так: «Если бы это была защита, я бы голосовал за присуждение...» Защита называлась диспутом. Особенно хорошо я помню защиту в такой условной форме, но в очень торжественной обстановке в актовом зале университета Виктора Максимовича Жирмунского. Ему также условно была присуждена степень доктора, но не условно аплодировали и подноси-



В. М. Жирмунский



И. И. Соллертинский

ли цветы. Темой «диспута» была его книга «Пушкин и Байрон».

Также условно было и деление «условной профессуры» на «красных» и «старых» по признаку — кто как к нам обращался: «товарищи» или «коллеги». «Красные» знали меньше, но обращались к студентам «товарищи»; старые профессора знали больше, но говорили студентам «коллеги». Я не принимал во внимание этого условного признака и ходил ко всем, кто мне казался интересен.

Я поступил на факультет общественных наук. Сокращение ФОН расшифровывалось и так: «Факультет ожидающих невест». Но «невест» там, по нынешним временам, было немного. Просто их многоказалось от непривычки: ведь до революции в университете учились только мужчины. Состав студентов был не менее пестрый, чем состав «условных профессоров»: были пришедшие из школы, но в основном это были уже взрослые люди с фронтов гражданской войны, донашивавшие свое военное обмундирование. Были «вечные студенты» — учившиеся и работавшие по 10 лет, были дети высокой петербургской интеллигенции, в свое время воспитывавшиеся с гувернантками и свободно говорившие на двух-трех иностранных языках (к таким принадлежали учившиеся со мной И. И. Соллертинский, И. А. Лихачев (будущий

переводчик), П. Лукницкий (будущий писатель), да и многие другие).

На факультете были отделения. Было ОПО — общественно-педагогическое отделение, занимавшееся историческими науками, было этнолого-лингвистическое отделение, названное так по предложению Н. Я. Марра, — здесь занимались филологическими науками. Этнолого-лингвистическое отделение делилось на секции. Я выбрал романо-германскую секцию, но сразу стал заниматься и на славяно-русской.

Обязательного посещения лекций в те годы не было. Не было и общих курсов, так как считалось, что общие курсы мало что могут дать фактически нового после школы. Студенты сдавали курс русской литературы XIX века по книгам, которых было немало. Зато процветали различные курсы на частные темы — «спецкурсы», по современной терминологии. Так, например, В. Л. Комарович вел по вечерам два раза в неделю курс по Достоевскому, и лекции его, начинаясь в шесть часов вечера, затягивались до двенадцатого часа. Он погружал нас в ход своих исследований, излагал материал как научные сообщения, и посещали его лекции многие ма-ститые ученые. Я принимал участие в занятиях у В. М. Жирмунского по английской поэзии начала XIX века и по Диккенсу, у В. К. Мюллера по Шекспиру, слушал введение в герmaniстику у Бrima, введение в славяноведение у Н. С. Державина, историографию древней русской литературы у члена-корреспондента АН СССР Д. И. Абрамовича, принимал участие в занятиях по Некрасову и по русской журналистике у В. Е. Евгеньева-Максимова; англосаксонским и среднеанглийским занимался у С. К. Боянуса, старофранцузским у А. А. Смирнова, слушал введение в философию и занимался логикой у А. И. Введенского, психологией у Басова (этот замечательный ученый очень рано умер), древнецерковно-славянским языком у С. П. Обнорского, современным русским языком у Л. П. Якубинского, слушал лекции Б. М. Эйхенбаума, Б. А. Кржевского, В. Ф. Шишмарева и многих, многих других, посещал диспуты между формалистами и представителями традиционного академического литературоведения, пытался учиться пению по крюкам (ничего не вышло), посещал концерты симфонического оркестра в филармонии, но путешествовал мало: не позволяло здо-

ровье, условия для поездок по стране после гражданской войны были трудные, родители снимали на лето дачу, и надо было ею пользоваться целиком. Мы часто ездили на дачу в Токсово, и я интересовался историей тех мест (здесь еще в 20-е годы жили шведы и финны, знавшие местные исторические предания, которые я записывал). Все кругом было интересно до чрезвычайности, а если вспомнить и о событиях чисто литературных, возможность пользоваться всеми книжными новинками, печатавшимися на Печатном Дворе, библиотекой университета и библиотекой редчайших книг в Доме книги, где по совместительству работал отец, то единственное, в чем я испытывал острый недостаток, — это во времени.

Ленинградский университет в 20-е годы представлял собой необыкновенное явление в литературоведении, а ведь рядом еще, на Исаакиевской площади, был Институт истории искусств (Зубовский институт), и существовала интенсивная театральная и художественная жизнь. Все это пришлось на время формирования моих научных интересов, и нет ничего удивительного в том, что я растерялся и многого просто не успевал посещать.

Я окончил университет в 1928 году, написав две дипломные работы: одну о Шекспире в России в конце XVIII — самом начале XIX века, другую — о повестях о патриархе Никоне. К концу моего учения надо было еще зарабатывать на хлеб, службы было не найти, и я подряжался составлять библиотеку для Фонетического института иностранных языков. Институт был богатый, но деньги мне платили неохотно. Я работал в Книжном фонде на Фонтанке в доме № 20, возглавлявшемся Саранчиным. И снова поразительные подборки книг из различных реквизированных библиотек частных лиц и дворцов, редкости, редкости и редкости. Было жалко подбирать это все для Фонетического института. Я старался брать расхожее, необходимое, остальное, наиболее ценное, оставляя неизвестно кому.

Что дало мне больше всего пребывание в университете? Трудно перечислить все то, чему я научился и что узнал в университете. Дело ведь не ограничивалось слушанием лекций и участием в занятиях. Бесконечные и очень свободные разговоры в длинном университетском коридоре. Хождения на диспуты и лекции (в городе была тьма-тьмущая различных лекториев и мест встреч,

начиная от Вольфилы на Фонтанке, зала Тенишевой (будущий ТЮЗ), Дома печати и Дома искусств и кончая небольшим залом в стиле модерн на самом верху Дома книги, где выступали Есенин, Чуковский, различные прозаики, актеры и т. д.). Посещения Большого зала Филармонии, где можно было встретить всех тогдашних знаменитостей — особенно из музыкального мира. Все это развивало, и во все эти места открывал доступ университет, ибо обо всем наиболее интересном можно было узнать от товарищей по университету и Институту истории искусств. Единственное, о чем я жалею, это о том, что не все удалось посетить.

Но из занятий в университете больше всего давали мне не «общие курсы» (они почти и не читались), а семинарии и просеминарии с чтением и толкованием тех или иных текстов.

Во-первых, занятия по логике. С первого курса я посещал практические занятия по логике профессора А. И. Введенского, которые он по иронии судьбы вел в помещении бывших Женских бестужевских курсов. «По иронии судьбы» — ибо женщин он открыто не признавал способными к логике. В те годы, когда логика входила в число обязательных предметов, онставил студенткам «зачет», подчеркнуто не спрашивая их, изредка отпуская только иронические замечания по поводу женского ума. Но занятия свои он вел артистически, и студентки, хотя и в малом числе, на них присутствовали. Когда лекции и занятия А. И. Введенского прекратились, один из наших «взрослых» студентов, помню — из числа участников гражданской войны — организовал группу по занятию логикой на квартире у профессора С. И. Поварнина, автора известного учебника логики. Мы ходили к нему и читали в русском переводе «Логические исследования» Гуссерля, изредка для лучшего понимания текста обращаясь к немецкому оригиналу. Поварнин неоднократно повторял нам: языки надо знать хотя бы немного, хотя бы постоянно прибегая к словарю, ибо переводчикам научных и технических книг доверять нельзя. И это мы ощущали.

Настоящей школой понимания поэзии были занятия в семинарии по английской поэзии начала XIX века у В. М. Жирмунского. Мы читали с ним отдельные стихотворения Шелли, Китса, Вордсвортса, Байрона, анализируя их стиль и содержание. В. М. Жирмунский обрушивал на

нас всю свою огромную эрудицию, привлекал словари и сочинения современников, толковал поэзию всесторонне — и с биографической, и с историко-литературной, и с философской стороны. Он нисколько не снисходил к нашим плохим знаниям того, другого и третьего, к слабому знанию языка, символики, да и просто английской географии. Он считал нас взрослыми и обращался с нами, как с учеными коллегами. Недаром он называл нас «коллеги», церемонно здороваясь с нами в университетском коридоре. Это подтягивало. Нечто подобное мы ощущали и на семинарских занятиях по Шекспиру у Владимира Карловича Мюллера, на занятиях старофранцузскими текстами у Александра Александровича Смирнова, среднеанглийской поэзией у Семена Карловича Боянуса.

Но истинной вершиной метода медленного чтения был пушкинский семинар у Л. В. Щербы, на котором мы за год успевали прочесть всего несколько строк или строф. Могу сказать, что в университете я в основном учился «медленному чтению», углубленному филологическому пониманию текста. Иному — занятиям в рукописных отделениях и библиотеках — учил нас милый В. Е. Евгеньев-Максимов. Дав нам рекомендацию в архив, он как бы невзначай приходил туда же и проверял — как мы работаем, все ли у нас благополучно. А однажды он возил меня с собой и к коллекционеру Кортавову в Новую Деревню. Он пробуждал в нас инициативу поисков, учил нас не «бояться архивов». Боязнь архивов В. Е. считал своего рода детской болезнью начинающего ученика, от которой он должен избавиться как можно быстрее.

Увлекали меня и лекции Е. Тарле. Но лекции эти учили главным образом ораторскому, лекционному искусству. Часто впоследствии, когда я в сороковых годах начинал преподавать на историческом факультете Ленинградского университета, я вспоминал, как останавливался Тарле, якобы подыскивая подходящее слово, как потом «стрелял» в нас этим найденным словом, поражавшим своею точностью и запомнившимся на всю жизнь. Я вспоминал и о том, как Е. В. Тарле «думал», читая свои лекции, как неуклюже, по-медвежьи, топтался возле кафедры, «подыскивая» факты, «вспоминая» документы, создавая полную иллюзию блестящей импровизации.

К древнерусской литературе в университете я обра-

тился потому, что считал ее малоизученной в литературоведческом отношении как явление художественное. Кроме того, Древняя Русь интересовала меня и с точки зрения познания русского национального характера. Перспективным мне представлялось и изучение литературы и искусства Древней Руси в их единстве. Очень важным казалось мне изучение изменений стилей в древней русской литературе во времени. Мне хотелось создать характеристики тех или иных эпох, вроде тех, что имелись на Западе — особенно в культурологических работах Эмиля Маля.

Мое время — это не только расцвет литературы (не скажу «ленинградской», ибо литературу на русском языке нельзя делить на ленинградскую, московскую, одесскую, вологодскую и т. д.), но и расцвет гуманитарных наук. Такого созвездия ученых — литературоведов, лингвистов, историков, востоковедов, какое представлял собой Ленинградский университет и Институт истории искусств в Зубовском дворце в 20-е годы, не было в мире. К несчастью, я не представлял себе тогда, как важно послушать поэтов и писателей, повидать их. Поэтому для меня учение в Ленинградском университете было временем упущенных возможностей. Я слышал Собинова, но уступил другу свой билет на Шаляпина, не пошел на встречи с Есениным и Маяковским. Только однажды разговаривал по телефону с С. Маршаком (он предлагал мне заняться детской литературой — писать для детей книги по русскому языку). Но зато упорно занимался у В. М. Жирмунского, А. А. Смирнова, логикой — у А. И. Введенского и С. И. Поварнина, слушал Н. О. Лосского. Занимался у Л. В. Щербы и В. В. Виноградова и многих других. Так что кое-какие возможности я все же не упустил. Из писателей в школьные годы я был предан Е. П. Иванову — детскому писателю и другу А. А. Блока.

Прошлое — будущему. Л. 1985.

## СОЛОВКИ

В двадцатые годы в Петрограде-Ленинграде существовало множество кружков, особенно среди молодежи. Собирались и по пять человек, и по десять, и больше. Были

кружки с «направлением» — например, философским, религиозным, поэтическим и т. д., но были кружки и без «направления». Обычно собирались в назначенный день недели, читался и обсуждался какой-либо доклад. Были кружки в помещениях школ, в какой-либо свободной аудитории университета, у членов кружка — тех, кто имел достаточную для приемов комнату. В 1927 году я ходил в кружок, где каждый из участников (а всего нас было восемь) старался перещеголять других в экстравагантности своих докладов, выступлений и точек зрения. Шутя мы назывались Космической Академией наук, сокращенно КАН. Члены кружка летом отправлялись пешком по какому-либо маршруту, например от Владикавказа до Сухуми. Летом же катались на лодке по Большой Невке. Сочинили свой гимн. У нас были изрядные стихотворцы. Гимн мы перевели на греческий.

Жилось нашей семье трудно. Это был 1927 год. Отец ушел с работы, и нас стеснили в нашей квартире, пришлось жить в двух комнатах со всеми ионовскими и своими книгами. Я не мог найти работу. Жить в 20 лет на счет родителей я считал для себя позорным. Наконец нанялся подбирать библиотеку в Книжном фонде на Фонтанке для Фонетического института иностранных языков. Но, наняв меня, С. К. Боянус денег мне не платил — просто забыл обо мне, а я напомнить не решался. Наконец получил от него за несколько месяцев ежедневной работы 60 рублей и купил себе костюм. Отец беспокоился, что я никуда не хожу, а к нам надо было попадать через проходную, добывать пропуск. Естественно, и ко мне никто не ходил. Единственной отдушиной были «заседания» КАН.

В 1928 году ОГПУ приступило к ликвидации различного рода кружков. Все «академики» были арестованы. Среди них 8 февраля был арестован и я. Не могу забыть, как мой отец, образец мужества, лишился чувств при моем аресте. Девять месяцев я просидел на Шпалерной (теперь улица Воинова). В самом начале ноября я был привезен на Соловки. Условия существования там в целом были ужасные. Но можно было попасть на тяжелые «общие работы» или оказаться в относительно сносных условиях.

Чему я научился на Соловках? Прежде всего я понял, что каждый человек — человек. Мне спасли жизнь «до-

мушник» (квартирный вор) Овчинников, ехавший с нами на Соловки вторично (его возвращали из побега, который он героически совершил, чтобы увидеться вновь со своей «марухой»), и король всех урок на Соловках, бандит и соучастник налетов знаменитого Леньки Пантелеева — Иван Яковлевич Комиссаров, с которым мы жили около года в одной камере.

После тяжелых физических работ и сыпного тифа я работал сотрудником Криминологического кабинета и организовывал трудовую колонию для подростков — разыскивал их по острову, спасал их от смерти, вел записи их рассказов о себе, собирая воровские слова и выражения. Страдал я их страданиями ужасно, ходил, как пьяный, от их рассказов о своей жизни, об их страданиях, жизни в асфальтовых котлах, путешествиях в ящиках под вагонами. Все это были больные люди, «занюханные» (с измененной психикой от нюхания наркотиков), с отмороженными ногами, руками и т. д., и т. д. Я собирая подростков из землянок в лесу на лесозаготовках, из самых отдаленных частей острова. Каких только рассказов о них я не записал!

В остальное время я встречался с самыми разнообразными людьми — разных национальностей (был даже японский самурай), разного социального положения, раз-

Соловецкий монастырь



ного образовательного уровня, разных профессий. Я оценил моральную стойкость людей старого, дворянского воспитания. Несколько лет я работал с людьми, известными в русской культуре начала XX века, и с молодыми людьми, многие из которых были очень талантливы. Общение с ними было для меня в высшей степени полезным. В начале ноября 1931 года меня вывезли на материк, и я стал работать на Беломорско-Балтийском канале в одном из самых ответственных узлов всех работ — диспетчером на железной дороге. И снова люди и люди. Ровно через четыре с половиной года после своего ареста я был освобожден с красной полосой через всю бумагу о моем освобождении, удостоверяющую, что я освобожден как ударник Белбаллага с правом проживания по всей территории СССР. Я вернулся в Ленинград, но потом все же мне пришлось хлопотать о снятии судимости, что и было сделано решением Президиума ВЦИК. Помогли мне в этом доброжелательный президент Академии наук СССР академик А. П. Карпинский и наркомюст Н. В. Крыленко.

Из всей этой передряги я вышел с новым знанием жизни и с новым душевным состоянием. То добро, которое мне удалось сделать сотням подростков, сохранив им жизнь, да и многим другим людям, добро, полученное от самих солагерников, опыт всего виденного создали во мне какое-то очень глубоко залегшее во мне спокойствие и душевное здоровье. Я не приносил зла, не одобрял зла, сумел выработать в себе жизненную наблюдательность и даже смог незаметно вести научную работу. Я изучал обычай воровской игры в карты и напечатал на эту тему в лагерном журнале «Соловецкие острова» (1930, № 1) свою первую научную работу. Собранные мною материалы по воровскому арго легли потом в основу двух научных работ, первая была напечатана в 1935 году, а другая только в 1964 году. Не остался я равнодушен и к истории Соловков. Сейчас я вспоминаю то время без чувства обиды, но с известного рода сознанием того, сколько оно мне дало для моего умственного развития. И это вовсе не по поговорке «что прошло, то будет мило». Испытания, которым я подвергался, «милыми» стать не могли.

Не так давно в «Огоньке» (1988) в рубрике, которую ведет Евгений Евтушенко, напечатаны стихотворения

Юрия Казарновского из его книжечки, изданной в середине 30-х годов. В примечании было сказано, что составитель не знает, кто такой Ю. Казарновский и напечатал ли он что-либо еще до или после.

Юрий Казарновский из Ростова-на-Дону. Родился он в начале века. Был в литературном кружке в своем родном городе. Арестован. Сидел на Соловках. И печатался в журнале «Соловецкие острова». Там несколько стихотворений его можно найти. Не лучшие стихотворения, но те, которые могли пройти цензуру. Потом он был все время в лагерях и был последним, кто видел О. Э. Мандельштама.

Мы звали его на Соловках Юрка Казарновский. Он был великий озорник. Насколько это было возможно в лагерных условиях. Начальство в лагере было глупое и необразованное. Казарновский работал в культурно-воспитательной части. Во главе ее стоял совершенно неграмотный северянин.

Тогда была такая теория о «социально близких» и «социально дальних». «Близкие» — это воры, а «дальние» — контрреволюционеры. Теория гласила, что надо все делать для «социально близких».

Журнал «Соловецкие острова» издавался с 1926 по 1932 год и свободно продавался по стране. Его можно найти в библиотеках. Там иногда проходили довольно озорные вещи, много любопытного материала.

Я попал в лагерь в конце ноября 1928 года, а Казарновский немного раньше, по-моему, весной. Меня осенью 1931 года увезли с Соловков, и 4 августа 1932 года я был освобожден с «красной чертою». Из пяти я пробыл там четыре с половиной года. «Красная черта» — это значит, что я был освобожден как ударник Беломорско-Балтийского канала: к этому времени он был закончен, и Сталин, в восторге, всех строителей освободил. Так мне повезло.

Заметки и наблюдения. Л. 1989.



Д. С. Лихачев (фото,  
сделанное в Соловках)



Башня Соловецкого  
монастыря

## НА СОЛОВКАХ

Вспоминая сейчас то, что было более 60 лет тому назад, я прихожу к выводу, что самое трудное — восстановить время, когда произошло то или иное событие. Я ясно помню, зрительно помню, почти вижу людей, их лица, природу вокруг Соловецкого Кремля, роты, поворки, слышу расстрелы, вспоминаю содержание разговоров, но расположить все это в хронологически правильном порядке очень трудно. Как будто бы в моей памяти лежат фотографические пленки событий, записи разговоров, но они лежат не по порядку. Вот почему я избрал «топографический» принцип в расположении своих воспоминаний: по местам и о местах заключения. Как ни странно, вспоминая именно так, мне постепенно удается восстанавливать и последовательность всего происходившего.

Из разговоров на Соловках в 1929 году я помню: плотность «населения» на островах больше, чем в Бельгии. И при этом огромные площади лесов и болот не только не населены, но неизвестны. Не знаю: входили ли в этот расчет плотности населения озера.

Что же это было на Соловках — гигантский муравейник? Да, муравейник был — между зданиями трудно было даже протолкнуться. Давка была при входе и выходе из 13-й роты — рядом с Преображенским храмом. Охранники из заключенных с палками («дрынами») «наводили порядок». И при этом вход и выход был доступен не каждому — только с «нарядами» — листами на работу.

Ночью проходы между зданиями затихали, высились богатырские стены, башни и храмы, устойчиво стоявшие с помощью своих расширявшихся книзу стен...

Попробую описать устройство лагеря. В Кремле (так называлась часть монастырских строений, огражденная стенами из гигантских валунов, поросших оранжевым лишайником) было 14 рот. 15-я рота была вне монастыря для заключенных, живших в различных «шалманах» — при Мехзаводе, алебастровом заводе, при Бане № 2 и т.д. Про лагерное кладбище говорили — 16-я рота. Шутили, но трупы зимой лежали незасыпанные и раздетые, как в некоторых ротах.

Почему заключенные распределялись по «ротам»? Я думаю — тут известную роль сыграли заключенные из военных, устанавливавшие порядок среди первых прибывших на острова заключенных. Военные были на первых порах единственной организующей силой, способной разместить, накормить, установить элементарный порядок среди прибывавших и прибывавших на острова Соловецкого архипелага заключенных. Они и делали многое по армейскому образцу.

1-я рота была ротой «привилегированных» — командиров, начальников. Она помещалась за алтарем Преображенского собора на первом этаже и глядела на площадь общелагерных поверок. Над первой ротой помещалась 3-я «канцелярская» рота с окнами в обе стороны. Где была 2-я рота — не помню. 6-я рота, «сторожевая», состояла в основном из священников, монахов, епископов. Им поручалась работа, на которой нужна была честность: сторожить склады, каптерки, выдавать посылки заключенным и т.д. Она помещалась в основном в здании, тоже обращенном на площадь поверок. 7-я рота — «артистическая». Здесь жили работники культурно-воспитательной части: актеры, музыканты, администра-

тивные деятели учреждений, изображавших «перевоспитательную» работу на Соловках. 8, 9 и 10-я роты тоже были «канцелярскими». 11-я рота — это карцер. Он помещался у Архангельских ворот. Там заключенные сидели на «жердочках», а спали прямо на полу. 12-ю роту — не помню.

Из всех этих рот — 13-я была самой большой и самой страшной. Были там многоэтажные нары. Туда принимали прибывавшие этапы. Там их муштровали, чтобы сломить всякое желание сопротивляться или протестовать. Оттуда направляли на тяжелые физические работы. Все прибывающие на Соловки обязаны были пробыть в 13-й роте не менее трех месяцев. Называлась рота «карантинной».

Нас выстраивали строем по десять человек на длительную проверку по коридорам, окружавшим Троицкий и Преображенский храмы. Мы пересчитывались, и последний в строю орал: «Сто восемьдесят второй. Полный строй по десяти». В роте на нарах вплотную друг к другу могло поместиться три-четыре, а то и пять тысяч человек. По особым ходатайствам удавалось вызволить кого-либо (особенно из известных) из карантинной роты.

Помню, как начальник здоровался с нами: «Здравствуй, карантинная рота!» И мы, сосчитав про себя до трех, после последних слов этого «приветствия» хором гаркали «Здра!». Затем по очереди подходили к маленьким столикам, за которыми сидели нарядчики (среди них чубаровцы: участники ужасающего группового изнасилования в Чубаровом переулке в Ленинграде в 1927 г.), и получали наряды на тяжелую работу. Но об этом потом.

В 14-й роте, помещавшейся в единостолпной трапезной палате и прилегающих помещениях, жили те, кто не был еще распределен после трехмесячного пребывания в 13-й роте по «командировкам» и дождался отправки на лесозаготовки, торфоразработки и всякие производства.

15-я рота, иначе «сводная», была для тех, кто жил по разным углам за пределами Кремля. Эта рота считалась самой «блатной», т. е. самой привилегированной.

16-я рота — как я уже сказал, «кладбище».

Кроме рот в Кремле существовал отдельно обширный лазарет, где обычно все было до предела переполнено, и



*Свидание с отцом и матерью. Соловки (1930 г.)*

«команда выздоравливающих» в подвале недалеко от прачечной.

Вот, кажется, и все из «жилого» в центральном, «кремлевском» участке.

Но кроме «жилых» помещений в пределах Кремля были еще и «работающие» помещения: баня — там, где Сушило, Адмчасть, распоряжавшаяся всем порядком и снабжением лагеря (тут работали главным образом лучшие организаторы — военные). ИСЧ (информационно-следственная часть), сочинявшая для собственного существования различные «заговоры», выслушивавшая информаторов (сексотов) из заключенных (для их удобного приема был уже ныне не существующий деревянный домик под Сторожевой башней вне Кремля), «Помоф» (пошивочная мастерская, где работали по преимуществу женщины). «Помоф» и часть лазарета помещались в первом «отсеке» Кремля, недалеко от Никольских ворот. Был театр с фойе, служившим также лекционным залом. Но самое главное — в Кремле существовал Музей. О нем я расскажу подробно ниже. В Музее было даже уютно, а в театре ставились замечательные постановки, играли прекрасные актеры, но попасть в него было труднее, чем сейчас в Большой театр в Москве. О театре опять-таки подробнее потом.

Наконец, в Кремле, в первом его отсеке с отдельным

выходом через Сельдяные ворота (сейчас ими не пользуются, они заросли, въелись в землю), существовал «монастырь» для монахов с игуменом, схимником (не путать с отшельником, якобы жившим где-то в лесах) и отведенной для монахов на кладбище деревянной Онуфриевской церковью, где совершались монастырские богослужения. Эти монахи были специалистами по рыбной ловле. Они умели управляться с сетями, знали течения в море, ход рыбы и т.д. Ловили они навагу, но главным образом знаменитую соловецкую сельдь, шедшую на столы Московского Кремля. Сельдь эту еще называли «кремлевской». Когда Онуфриевскую церковь закрыли, сельдь исчезла (может быть, в знак невыполнения УСЛОНОМ своих обязательств перед монахами). Монастырь был закрыт, монахов изгнали или уничтожили — не знаю. Был монах и на Муксалме, умевший обращаться с коровами (коровы были в Сельхозе у Кремля и на Муксалме, где находились чудные выпасы для скота).

Были еще в Кремле «заведения» помельче. Клетушка под большой колокольней, где расстреливали поодиночке (выстрелом в затылок, после чего приезжала телега с ящиком<sup>1</sup>, куда бросали труп, и приходили поломойки мыть пол от крови). Была хлебопекарня, выпекавшая отличный хлеб по технологии еще XVI века — митрополита Филиппа. Был дровяной двор (он сейчас пустой — там висят два сохранившихся колокола — норвежский и царский). Была кипятильня (около хлебопекарни), где из выходившего наружу крана можно было для рот получать кипяток (его забирали в больших медных монастырских кувшинах для кваса).

Назначение помещений иногда (очень редко) менялось. Так, помещение 14-й роты (единостолпная палата) одно время использовалось как столовая.

В каждое помещение посторонним вход был запрещен. Дежурили люди с палками, которые, не стесняясь, били слишком настойчивых посетителей. Я лично общался с людьми из других рот главным образом на работе.

Вход и выход из Кремля был только через Никольские ворота. Там стояли караулы, проверяли пропуска в

<sup>1</sup> Отсюда выражение: «сыграть в ящик» — умереть.

обе стороны. Святые ворота использовались для размещения там пожарной команды. Пожарные телеги могли быстро выезжать из Святых ворот наружу и внутрь. Через них выводили на расстрелы — это был кратчайший путь из 11-ой (карцерной) роты до монастырского кладбища, где производились расстрелы. Но об этом потом.

За пределами Кремля помещалось в здании бывшей монастырской гостиницы Управление СЛОН, женбарак, Мехзавод (бывшая «Кузня»), Сельхоз, Баня № 2, где производилась санобработка и где просиживали по несколько часов голые заключенные, пока выпаривалась в вошебойке их одежда, Алебастровый завод, Канатный завод, спортплощадка (для вольнонаемных), обслуживающаяся двумя-тремя заключенными, дом и столовая для вольнонаемных (для немногих начальников). Вдалеке находился Кирпизавод (Кирпичный завод).

Что же помещалось на остальной части Соловецкого архипелага? Должен сказать, что я знал остальную часть лагеря очень плохо: только по моим пешим командировкам для собирания сведений о подростках, которых необходимо было определить в Детколонию, вскоре переименованную в Трудколонию и печально известную в связи с посещением Соловков Максимом Горьким в 1929 году.

Прежде всего следует упомянуть мужской карцер на Секирной горе («Секирка»), женский карцер на Большом Заяцком острове («Зайчики»), Голгофу — для безнадежно больных и глубоко старых людей (главным образом священников и нищих, собранных с папертью московских церквей).

Существовали лесоразработки, торфоразработки, обширные лагеря в Савватиеве, Исакове, Филимонове, Муксалме.

Существовали безымянные лагеря в лесу. В одном из них я был и заболел от ужаса виденного. Людей пригоняли в лес (обычно в лесу были болота и валуны), заставляли рыть траншею (хорошо, если были лопаты). Две стороны этих траншей были повыше и служили для сна, вроде нар, центральный проход был глубже и обычно весной заполнялся талой водой. Чтобы залечь в такой траншее спать, надо было переступать через уже лежав-

ших. Крышой служили поваленные елки и еловые ветви. Когда я был в такой траншее, чтобы спасти из нее детей, в этой траншее «шел дождь»: снег сверху уже таял (это был март или апрель 1930 г.), сливался и на земляные лежбища, и в центральную канаву, которой надлежало быть проходом.

Я уже не говорю о «комариках» (наказание, применявшееся летом), о том, как не пускали на ночь в эти траншеи, когда не выполнялся «урок»; как работали, какой выполняли «ударный» план... После одного такого посещения в 1931 году у меня открылись сильнейшие язвенные боли, которые вскоре прошли, так как появилось язвенное кровотечение, перенесенное мною «на ногах». Но обо всем в свое время.

В этих-то лесах главным образом и погибали заключенные.

В тридцатом году осенью умерли тысячи «басмачей» — изнеженные мужчины в халатах и шелковых башмаках. Умерли интеллигенты, которых мы, жившие в Кремле, не успели перехватить из 13-й и 14-й рот.

\* \* \*

Итак, описав кое-как богатство соловецкой лагерной топографии, перехожу к рассказу о своих «путешествиях» по этому миру, в которых встречи с людьми — главное.

В сарае на Поповом острове, где от стояния всю ночь в тесноте у меня отекли ноги, мне под утро уступили место на нарах — немного полежать, ибо сапоги мне стали малы и ноги не держали. Уступили удивительные люди — молодые красавцы кабардинцы в национальной одежде. Одного из них звали Дивлет Гирей Албаксидович. Я запомнил — ибо вечно ему благодарен. Кабардинцы очистили два места на нарах для стариков: для муллы и для православного священника. Охраняли их сон от натиска шпаны. Видя мое состояние, дали полежать и мне. Священник, который лежал рядом — украинец по национальности, — сказал мне: надо найти на Соловках отца Николая Пискановского — он поможет. Почему именно он поможет и как — я не понял. Решил про себя, что отец Николай, вероятно, занимает какое-то важное

положение. Предположение нелепейшее: священник и «ответственное положение»! Но все оказалось верным и оправдалось: «положение» отца Николая состояло в уважении к нему всех насельников острова, а помог он мне на годы.

На следующий день нас грузили на пароход «Глеб Бокий», что отправлялся на Соловки. Домушник (вор по квартирам со взломами) Овсянников стоял рядом и предупреждал: «Только не торопитесь! Будьте последними». Он был второй раз на Соловках. Первый раз бежал, явился к своей «марухе» на Сennой в Ленинграде, где и был схвачен. Прошел всю дорогу к ней пешком по шпалам с «когтями» за спиной. Когда замечал патруль, то одевал «когти» и залезал на ближайший телеграфный столб. Разумеется, со столба патруль его не снимал: человек работает!

Избит Овсянников был в Кемперпункте страшно. Избивали его за то, что подвел часовых, начальников, «испортил статистику» (считалось, что с Соловков бежать нельзя) и т.д. Но и избитый домушник оставался человеком. Мы его подкармливали, а он помогал нам своим лагерным опытом. Когда людей стали запихивать в трюм, он затащил нас на площадку посередине трапа и посоветовал не спускаться ниже. И действительно, там, внизу люди начали задыхаться, нас же команда выпустила раз или два на палубу подышать. После девяти месяцев тюрьмы я дышал свежим морским воздухом, смотрел на волну, на проходившие мимо безлесые острова.

Около Соловков нас снова запихнули в чрево «Глеба Бокого» (это живой человек, в честь которого был назван пароход, — людоед — главный в той тройке ОГПУ, которая приговаривала людей к срокам и расстрелам). По шуршанию льда о борта парохода мы поняли, что подходим к пристани. Был конец октября, и у берегов стал появляться «припай» — береговой лед. Вывели нас на пристань с вещами, построили, пересчитали. Потом стали выносить трупы задохшихся в трюме или тяжело заболевших: стиснутых до перелома костей, до кровавого поноса.

Нас, живых, повели в Баню № 2. В холодной бане заставили раздеться и одежду увезли в дезинфекцию. Попробовали воду — только холодная. Через час примерно появилась горячая. Чтобы согреться, я стал бес-

прерывно поливать себя горячей водой. Наконец вернули одежду, пропахшую серой. Оделись, повели к Никольским воротам. В воротах я снял студенческую фуражку, с которой не расставался, перекрестился. До того я никогда не видел настоящего русского монастыря.

Я воспринял Соловки, Кремль, не как новую тюрьму, а как святое место. Прошли одни ворота, вторые и повели в 13-ю роту. Там при свете «летучих мышей» (были такие не гаснувшие на ветру фонари, так называвшиеся) нас пересчитали, обыскали. Помню, я никак не мог завязать свою корзину, которую купили мне родители: легчайшую и прочнейшую, имевшую форму чемодана, и никак не мог проглотить печенье, что оказалось в корзине. Горло мое так отекло, распухло, что глотнуть я не мог. С сильной болью, размешав кусочек печенья в обильной слюне, я проглотил...

Затем произошло неожиданное. Отделенный (мелкий начальник над каким-то участком нар) подошел именно ко мне (верно, потому, что я был в студенческой фуражке — и поверил ей), попросил у меня рубль, и за этот рубль, растолкав всех на нарах, дал место мне и моим товарищам. Я буквально свалился на нары и очнулся только утром. То, что я увидел, было совершенно неожиданно.

Нары были пустые. Кроме меня оставался на нарах у большого окна с широким подоконником тихий священник и штопал свою рясу. Рубль сыграл свою роль вдвойне: отделенный не поднял меня и не погнал на поверку, а затем на работу. Разговорившись со священником, я задал ему, казалось, нелепейший вопрос, не знает ли он (в этой многотысячной толпе, обитавшей на Соловках) отца Николая Пискановского. Перетряхнув свою рясу, священник ответил: «Пискановский? Это я!»

Сам неустроенный, тихий, скромный, он устроил мою судьбу наилучшим образом. Но об этом потом. А пока, огляdevшись, я понял, что мы с отцом Николаем вовсе не одни. На верхних нарах лежали больные, а из-под нар к нам потянулись ручки, прося хлеба. И в этих ручках был тоже указующий перст судьбы. Под нарами жили «вшивки», подростки, проигравшие с себя всю одежду. Они переходили на «нелегальное положение» — не выходили на поверки, не получали еду, жили под нарами, чтобы их голых не выгоняли на мороз, на физическую

работу. Об их существовании знали. Просто вымаривали, не давая ни хлеба, ни супа, ни каши. Жили они на подачки. Жили, пока жили! А потом мертвыми их выносили, складывали в ящик и ящик везли на кладбище. Это были известные беспризорные, которые часто наказывались за бродяжничество, за мелкое воровство. Сколько их было в России! Дети, лишавшиеся родителей, — убитых, умерших с голоду, угнанных за границу с белой армией, эмигрировавших (помню мальчика, утверждавшего, что он сын философа Церетели). На воле спали они в асфальтовых котлах, путешествовали по России в поисках тепла и фруктов в ящиках под пассажирскими вагонами или в пустых товарных. Нюхали они кокаин, завезенный из Германии, нюхали анашу. У многих перегорели носовые перегородки. Мне было так жалко этих «вшивиков», что я ходил, как пьяный, — пьяный от сострадания. Это было уже во мне не чувство, а что-то вроде болезни. И я так благодарен судьбе, что через полгода смог некоторым из них помочь. Как? Об этом в последующем. А пока возвращаюсь к жизни в 13-й карантинной роте.

Одной из моих первых забот было сохранить вещи, чтобы не украли. В один из первых дней (может быть, даже в первый) я передал корзину с вещами кому-то из людей, живших в канцелярских ротах. Потом я научился спать так, чтобы не украли мой романовский полуушубок. Ложась на нары, переворачивал его полами к лицу, продевал разутые ноги в рукава, а сапоги клал под голову как подушку. Даже при моем крепчайшем юношеском сне меня нельзя было обокрасть, не разбудив.

Утром я получал свою «пайку» хлеба и кипяток в большую эмалированную кружку, которой снабдили меня заботливые родители. По возвращении с работы в ту же кружку мне наливали поварешкой похлебку. Наряды на работу давали утром во тьме, у столов, освещавшихся «летучей мышью». Отправляли на работу группами. У меня была вторая группа трудоспособности, которую определила медицинская комиссия еще в Кемперпункте, поэтому отправляли меня на работы сравнительно легкие. Несколько раз я был электромонтером в Сельхозе. Однажды ходил в Лисий питомник на островке в Глубокой губе. Там заключенные жили в относительно сносных условиях, и нас даже подкармливали. Но перебираться на остров было опасно: у берегов был уже лед, вода накаты-

валась на плот и обмывала сапоги, а сходить на берег было особенно трудно. Как мы все не утонули, не знаю. Возили мы и свиной навоз. Мало того, что навоз был сильно пахучим, — было легко запачкаться. Командовал нами заведующий Сельхоздвором. Мы, все «вридлы» (временно исполняющие должность лошадей), в упряжке разговаривали на разные темы. Лингвист Игорь Евгеньевич Аничков, воспитывавшийся в свое время в лицее в Париже, в Швейцарии и в Англии, в Йтоне, рассуждал о том, как склонять это новое слово «завдвором» и как быть, если «завдвором» окажется женщина: будет ли она «завдворома» или как-то иначе? Толя Тереховко, Федя Розенберг, Володя Раков — читали стихи. Удивительной была роль поэзии в лагерных условиях! Кто-то это уже отмечал в своих лагерных воспоминаниях, и мне приходится только подтвердить это. Стихи отвлекали, увлекали, утешали. Уже тогда мы радовались стихам Мандельштама, Пастернака, как и Блока, Пушкина, Тютчева. Сколько раз мы повторяли: «В Петербурге мы сойдемся снова», «Отечество нам Царское Село» (с него-то и началось наше «дело»<sup>1</sup>).

Навоз мы вскоре весь перевозили, снег, который надо было расчистить, — тоже, и вот мне дали новый наряд — помощником ветеринара в Сельхоз. Ветеринар оказался не ветеринаром; а авантюристом-доносчиком. Он пропадал на много часов: как выяснилось, писал огромный донос — в Москву, рассчитывая, что его вывезут туда с Соловков на гидроплане для дачи показаний. И в самом деле — через несколько дней после отправки доноса его вызвали на материк, к счастью для меня и моих коров. Дело в том, что коров «ветеринар» не кормил, они мычали от голода, он стал доказывать, что у коров эпизоотия (массовое заболевание), а меня заставлял измерять у них температуру, ставя градусники под хвосты в задний проход. Температура у всех коров оказывалась выше 37 градусов (как и должно было быть у коров), а с моими отметками о температуре он бегал по начальству и требовал муки для подкормки. Муку неграмотное начальство ему давало, но большую часть он уносил в свою

<sup>1</sup> Володя Раков неосторожно послал шутливую телеграмму из Царского Села, где жил, Феде Розенбергу с поздравлением от «папы римского» с годовщиной Космической Академии.

Первую роту. Оставшуюся часть муки я закладывал в огромный котел для кипячения белья в портомойке у озера. Я разводил огонь, заливал воду и... болтушка моя пригорала так, что балованные монахами коровы отказывались ее есть.

Должен сказать, что отец Николай успел к этому времени познакомить меня с некоторыми заключенными, постоянно работавшими в Кремле. Среди них — и с владыкой Виктором Островидовым, счетоводом Сельхоза. Владыка посоветовал мне как можно скорее, любыми средствами выйти из под опеки Комчебек-Возняцкого (такой была фамилия «ветеринара»). Впрочем, ко времени, когда мой второй рубль лег на стол нарядчика, Комчебек-Возняцкого уже вывезли в Кемь, а на его должность вступил настоящий пожилой крестьянин, который, кстати, объяснил мне и нормальность «ненормальной» температуры у коровы под хвостом.

Самое ужасное было носить на пристани бараньи туши на спине. Я был не только физически не приспособлен вообще, но изрядно ослабел за девять месяцев сидения в тюрьме. Ноги не держали меня, руки замерзали, мой романовский полушубок засалился.

Через месяц нас повели в баню — уже другую — у Сушила. Окатившись горячей водой, я ужаснулся, увидев, что все мое тело кровоточило. К этому времени я был весь во вшах, и расчесы не заживали, а может быть, было столько новых, что с меня катилась розовая вода, все тело саднило. Не помогали от вшей и мешочки с нафталином и чесноком, которыми я был обвязан в излюбленных вшами местах — там, где белье особенно тесно прикасается к телу: вокруг шеи, вокруг пояса и около щиколоток, где нижнее белье имело завязочки.

Вши были большим препятствием для вызова на канцелярскую работу из 13-й роты. В канцелярских ротах вши появлялись лишь эпизодически. Приглашать к себе ошивавших канцеляристы боялись. И все же по просьбе отца Николая меня принял в своей переполненной жильцами келье Николай Николаевич Бахрушин. Меня посадили посередине комнаты на табурет, чтобы я не соприкасался с постелями обитателей, и Бахрушин обещал поговорить с заведующим Криминологическим кабинетом Культурно-воспитательной части Александром Николае-

вичем Колосовым, формировавшим в то время штат своего волшебного заведения.

Через несколько дней Александр Николаевич встретился со мной на улице у Царской часовни. Мы сели с ним на скамейку на почтительном расстоянии друг от друга, хотя вши на морозе не переползают, и стали разговаривать на разные темы. Александру Николаевичу было между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами. Старомодный человек, очень почтенной наружности, говоривший медленно и внятно, как полагается воспитанному человеку, он в конце концов перешел от общих тем к «специальной». Ему нужны были молодые энергичные люди, которые могли бы способствовать осуществлению его замысла: спасению подростков от влияния взрослых воров. Опираясь на тоненькую и изящную березовую палочку, с которой он не расставался, и мечтательно смотря поверх кровель — куда-то туда, за море, — он говорил о несчастной судьбе «нашей молодежи». В общем, я понял, что он меня берет... Но должно было пройти время. Вскоре меня перевели в 14-ю роту, где уже были мои сodelьцы Володя Раков и Федя Розенберг, и мне дали неплохое место на нарах. Я даже смог взять часть своих вещей, переодеть белье. На какую-то все еще физическую работу меня вызывали из 14-й роты, я не помню. Помню, что вечерами я был свободен и мог слушать разговоры и рассказы моих соседей. Там был, например, архитектор Клейн, которого я даже принимал (ошибочно) за строителя Музея изящных искусств в Москве. Он был необычно худ и, как сейчас помню, варил себе кашу в маленькой кастрюльке на времянке, стоявшей между нар. Советовал то же самое делать и мне (у меня к этому времени разболелась моя язва — я не подозревал, что она у меня есть). Был некто очень образованный, Кошкорёв, были интеллигент с шведской фамилией, поэт из Москвы, кажется Туфанов, актер какого-то известного театра и другие. Вскоре я почувствовал резкую слабость и, кажется, головную боль. Мои товарищи вызвали лекпома (лекарского помощника). Он смерил мне температуру. 40 градусов! Федя и Володя стащили меня с нар и поволокли в лазарет — благо он был недалеко. В лазарете уже работал тогда врачом мой учитель по средней школе Иван Михайлович Андреевский (помимо университетского филологического образования, полученного за рубежом, у него был

еще диплом врача-психиатра). Меня выкупали в ледяной воде (что, кажется, было даже полезно), положили на втором этаже на топчан, и я впервые сладостно почувствовал, что меня не кусают вши. Врачи стали думать — что со мной? Через день определили — я был первым заболевшим сыпным тифом, открывшимся в 1929 году. У меня был бред, и содержание этого бреда я помню до сих пор. Дело в том, что когда мне поставили диагноз «сыпняк», то стали сразу же думать об особом отделении для больных этой болезнью. Меня отнесли куда-то вниз и положили на солому. И вот мне стало казаться, что я лежу на улице, окружен толпой подростков и тут привозят гору лаптей. Подростки в одном белье, босые, и мне нужно распределить среди них лапти. Помню даже санки с этими лаптями. Я хочу подняться и не могу, ползу, но меня водворяют на место. Мне жалко дрожащих от холода, меня самого трясет, но нет сил сделать то, что я должен. Сон был пророческим: в будущем мне удалось добыть для молодых воров обувь, портняки, теплую одежду. Но об этом дальше.

Потом помню, что меня перевели в другое, светлое помещение, и в короткий зимний день из этого помещения был виден куполок надвратной Благовещенской церкви. Такой тоски, как в те дни, я не испытывал никогда в жизни. Это было отчаяние.

Еще через какой-то промежуток времени я очутился в «команде выздоравливающих» под низко нависавшим каменным сводом, с проходившей через него над моей головой широкой трещиной, из которой на меня нещадно дуло холодом.

В этой «команде» мне запомнились две встречи, придавшие мне душевые силы.

Рядом со мной лежал пожилой крестьянин, которому я почему-то понравился. И вот однажды он наклонился ко мне и сказал: «Я научу тебя одной штуке, и ты будешь всегда сыт». «Штука» заключалась в следующем. Повсюду носят валенки, но на валенки нужны резиновые галоши. Выкроить из резины (для этого служили камеры автомобильных колес) галоши трудно: трудно ее резать — все идет вкось. Так вот: резать нужно ножницами в лохани с водой: под водой. Он передал мне этот свой «секрет» с таким хорошим чувством, что я до сих пор помню его так, точно я всю последующую жизнь

только и делал, что резал резину от автомобильных камер. Его «секрет» согрел меня на всю жизнь.

А другая встреча была с человеком совсем иного мира. Дело в том, что общая «параша» нашей команды стояла в небольшом соседнем помещении. Она была железная, высокая, и чтобы оправляться, надо было подниматься по лесенке, а это было для меня очень трудно. Я был слаб и чувствовал, что свалюсь: меня шатало. Но около «параши» дежурил представительный старик с большим посохом в руках. На нем была черная шапка. Видом он был явно с Кавказа. Про него говорили, что он католикос. Я потом, на свободе, тщетно стремился узнать — армянский ли он был католикос или глава грузинской церкви. Может быть, потом еще узнаю. Он, ласково улыбаясь, подавал мне руку и держал меня все время, пока я оправлялся. Я просил у него извинения, — прямо не знаю как. Но он, улыбаясь, успокаивал меня всячески. Боже мой, кто бы еще мог себя вести подобным образом, кроме этого католикоса? С тех пор я не забываю ни его удивительного отношения ко мне, ни его ласкового лица.

Подвал «команды выздоравливающих» памятен мне еще одним лицом. Ко времени этих новых встреч он был уже не подвалом для команды выздоравливающих, а продуктовым складом, и дежурил около него сторож — Маракников. Забыл его имя. Сын астраханского торговца хлебом, он работал в Советском торгпредстве в Париже и женился там на среднего достатка женщине, имевшей свой дом. Во второй половине двадцатых годов началось обновление состава торгпредств. Делалось это так: вызывали работника в командировку в Москву, а затем уже не выпускали из Москвы. Вызвали и Маракникова. Он поехал. Роман Якобсон из Праги, также женившийся за рубежом, не поехал в Москву и остался там «невозвращенцем», а Маракников был наивнее. Жена любила его и не верила, что он не нарочно покинул ее. Слала ему телеграммы и умоляла вернуться. Маракников решил бежать через турецкую границу около Батума (теперь говорят Батуми). Но телеграммы из Парижа настигали его и там. Понятно, что вскоре он был арестован и получил свои десять лет. Однако вернуться к жене ему хотелось, и он попытался бежать с Кондоострова, куда отправляли не только обнаруживавших себя сексо-

тов по какой-то статье Уголовного кодекса как за служебное преступление, но и людей, «нуждавшихся» в особо суровом исправлении. С компанией заключенных он захватил лодку и переправился на материк. Марачников шел ночами вдвоем с кем-то еще, а днем спал в лесу. ОГПУ в случае побегов «предупреждало» население деревень, что бежали чрезвычайно опасные преступники, способные убивать, грабить и насиловать: их надо непременно задержать. Марачников с товарищем об этих предупреждениях ничего не знали и зашли в какую-то избу попросить хлеба. Мужики захватили обоих и заперли в сарае. И вот тут произошло нечто, что его очень тронуло. Ночью кто-то поскребся в дверь сарая, и он услышал голос местного парня, дурачка: «Кони, а кони! Я вам хлебца принес».

В общем, Марачников получил еще десять лет. Его били, сделали инвалидом, и он был отправлен на «легкую» работу — сторожить «мой» склад — подвал, где раньше я жил. Мы, когда удавалось, приходили к нему на его пост, и он пел нам удивительные русские романсы, ямщицкие песни, которые пели русские хоры в ресторанах Парижа. Потребность в пении, как и в поэзии, была удивительной.

Итак, возвращаюсь к своему «топографическому» обозрению Соловков. У меня оказался чрезвычайный «блат» в Адмчасти Управления, помещавшейся недалеко от Пожарных ворот на втором этаже. Моя мать дружила с Ольгой Александровной Мельниковой. Ее муж, Александр Иванович Мельников, был «флаг-офицером» А. Керенского, как я понимаю — его морским адъютантом (Мельников служил раньше в царском флоте). Как только я получил в Кремле возможность выходить, я к нему отправился в Адмчасть. Его фамилия была записана у меня на кошечке, в котором лежали заветные три рубля. Записана она была так: нарисована ветряная мельница и к ней приписано «ов». Записана была и другая фамилия «Асоциани», но его к моему «приезду» уже не оказалось на Соловках.

Мельников был сурового вида, истощенный, худой, невысокого роста человек. На лице у него была странная складка над носом, придававшая ему очень сердитый вид. Он оказал и оказывал потом чрезвычайные услуги. Во-первых, он осведомился у Колосова — берет ли он меня к

себе в Криминологический кабинет и, узнав, что берет, направил меня прямо в камеру, где жил Колосов, чрезвычайно испугавшийся — не занесу ли я к ним тифозных вшей. А во-вторых, спустя некоторое время Мельников выписал мне пропуск, позволявший выходить и входить в любое время в Кремль. Это позволяло мне совершать небольшие прогулки в редкие свободные дни по дорогам, шедшим в Савватиево, в Филимоново (этую дорогу я особенно любил) и на Муксалму, куда я еще в 13-й роте ходил с санями «вридлом».

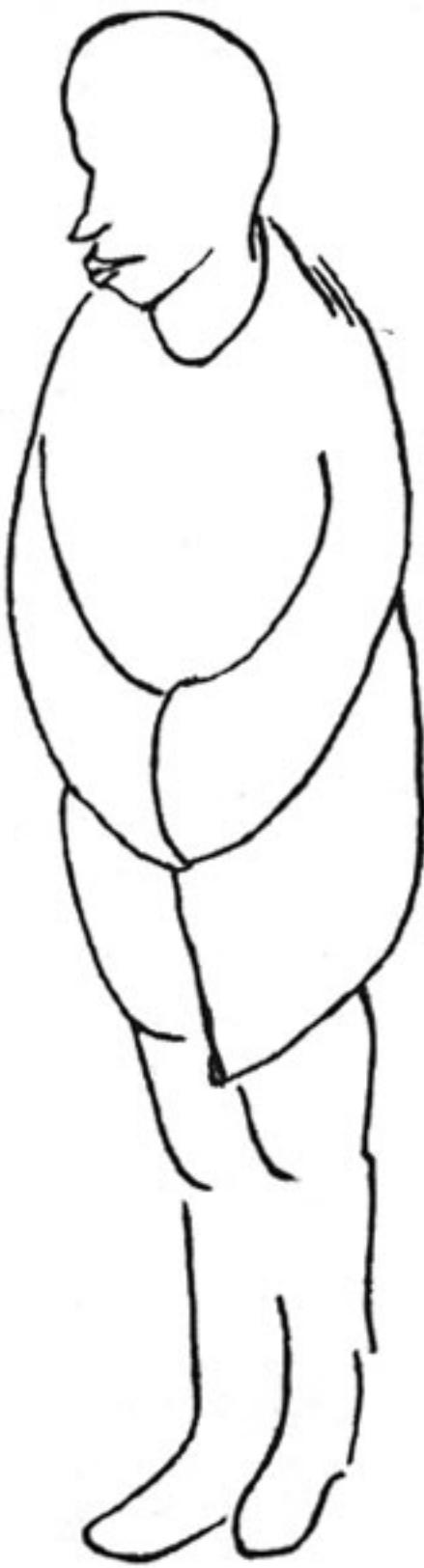
Третья рота размещалась на втором и третьем этажах здания, в котором на первом этаже помещалась привилегированная первая рота. Здание фасадом выходило на площадь генеральных поверок (там, где у стены Преображенского собора находилась под металлическим балдахином могила Авраамия Палицына). Наша камера выходила окном в противоположную сторону. Из окна была видна дощатая кровля стены, за которой ходили сотрясавшие монастырские стены небольшие составы Солжеде. Солжеде — это бывшая узкоколейная дорога из Новгорода в Старую Руссу. Ее в начале двадцатых годов заменили обычной ширококолейной, а два-три паровика, товарные вагоны и еще один классный (пассажирский) перевезли на Соловки. Дорога соединяла Кирпизвод, Мех завод (бывшая монастырская кузня), канатную фабрику, пристань у здания УСЛОНа и продолжалась до Филимонова, объединяя несколько мест лесозаготовок и торфоразработок.

В нашей камере, за окном которой часто посвистывали и пыхтели паровозики Солжеде, жили пять человек. Один топчан стоял под окном, примыкая к подоконнику, а вдоль длинных стен стояло по два топчана (впрочем, вместо одного из топчанов помещался жесткий деревянный монастырский диван). Меня, как новичка, да к тому же и самого молодого, положили под окно, из которого нещадно дуло. Другие четверо были любопытными людьми. Прежде всего А. Н. Колосов — «папашка», как его звали в Кримкабе молодые, обожавшие его люди. Он носил великолепную седую бороду, которую, впрочем, хвалился сбрить, как только получит свободу. Каждое утро он вставал раньше других, массировал лицо, расчесывал бороду перед маленьким зеркальцем.

Был ли он самовлюбленным человеком? Нет, — ду-

В. Свешников  
(псевдоним —  
В. Кемецкий  
по фамилии матери)

Рисунок  
Д. С. Лихачева  
(Соловки)



В. Свешников  
(псевдоним —  
В. Кемецкий по  
фамилии матери).

маю, он хотел вернуться к семье «таким же» — красивым, моложавым, учтивым, интеллигентным. Когда приехала на свидание его элегантная жена и хорошенькая дочка, с которыми он нас всех «кримкабовцев» познакомил в «шалмане», нанятом для свидания у какого-то блатного заключенного, я это понял. Но о «папашке» — в дальнейшем.

Другим моим сожителем по камере в Третьей роте был Афинский (ах, забыл, забыл его имя и отчество — не могу себе простить\*). Это был кассир УСЛОНа. Кем он был на воле — не знаю. Был он всегда в хорошем настроении и «разыгрывал» из себя влюбленного (а может, и в самом деле?) в молодую женщину, работавшую в Музее. Звал он ее в своих рассказах Душенька. Как была ее фамилия, я не знаю. Он обязательно рассказывал по вечерам: встретил ли ее на улице, когда вели партию женщин, или в УСЛОНе, или в том же Музее, куда ему удавалось иногда прорваться, но не поговорить с ней. Она была красива лицом, носила длинные юбки до пят, имела синие глаза. Вся камера радовалась, когда ему удавалось видеть ее хоть секунду. Он смеялся, все смеялись, но всегда прилично. Когда все в камере собирались пить на ночь кипяток из своих железных кружек, первый вопрос задавался Афинскому: «Ну, как Душенька? Удалось ли взглянуть?» Я помню его худое лицо с тонкой иссохшей кожей. Мы с ним иногда поздно вечером ходили зимой двадцать девятого года на Святое озеро покататься на коньках, сделанных нам на Мехзаводе из сломанных двуручных пил. Прекрасные были коньки! Однажды мы пошли кататься в какой-то черный туман. Мороз был сырой и суровый. Взявшись за руки, мы разучивали «голландский шаг». Афинский был в арестантском бушлате. Заболел. Пришлось положить в лазарет. Я навещал его. Он был чрезвычайно слаб, но улыбался мне и говорил, что выздоравливает. Воспаление легких наложилось на его извечный туберкулез. Он умер, и выбросили тело в какую-то заготовленную с осени яму. Наверное — голым: бушлат и старая его одежда были нужны другим...

Другим нашим сокамерником был генерал Осовский из старой дворянской фамилии, восходившей, по его

\* Вспомнил — Борис Николаевич.

словам, к византийским Палеологам. Мы в шутку называли его претендентом на Греческий престол и пытались, смеясь, спрашивать его о «греческих дела». Шутки как-то не выходили. Он работал сторожем, а сторожам ничего не давали на квитанцию (нам, работавшим, давали рублей по девять в месяц, и мы покупали себе компот и селедку в часовне Германа Соловецкого, превращенной в ларек). У меня была банка сгущенного какао. И когда вечером Осовский садился против меня со своей кружкой пустого кипятка, я давал ему ложку сгущенного какао. Это не нравилось «папашке», который неизменно говорил ему, что надо пойти работать на оплачиваемую должность. Я помню, как получил он письмо от своей матери из Парижа, в котором она жаловалась на скуку, несмотря на свое увлечение карточной игрой в покер. Письмо разозлило его страшно. Как может она ему, «мученику», жаловаться на скуку, да еще играя в азартную игру по вечерам?! Впрочем, о своем здоровье он заботился — выходил по утрам до поверки на улицу, раздетый до пояса (вернее — до своих генеральских брюк с красными лампасами), и обтирался снегом. В 1929 году его освободили по болезни и отправили в ссылку.

Еще один заключенный был — барон Дистерло. Вот уж в ком не было ничего «баронского». Я бы его назвал веселым простым парнем. Часто хохотал. Был вечно деятельным, подвижным, неунывающим. Казалось иногда, что он доволен своей жизнью. Отличный товарищ, всегда готовый помочь другим хотя бы своей физической силой. Был он тоже, как и Афинский, каким-то счетным работником в УСЛОНе.

Когда освободили Осовского, на его место мы устроили в свою камеру Федю — Эдуарда Карловича Розенберга. Рассказ о нем должен быть особый. Это был мой ближайший друг, сodelец, «академик» Космической Академии наук, за которую мы все восемь человек и получили по «пятерке». Хотя я и не могу утверждать, что именно за это. Следователь Стромин (это его псевдоним) стремился создать большое дело и все пытался нас объединить с аналогичными кружками — то с Российской философской академией, куда входил известный впоследствии литературовед Дмитрий Евгеньевич Максимов (он был освобожден еще из ДПЗ без приговора тройки), то с Братством Серафима Саровского, которого, по су-

ществу, не существовало (под таким названием на квартире у Ивана Михайловича Андреевского было два или три «заседания», а до того у него собирался «Хельфернак» — Художественно-философско-религиозно-научная академия), то еще с чем-то и с кем-то. Приговоров он добился, но объединить нас всех в большое и звучное дело ему не удалось.

Федя был сыном директора императорской Петергофской аптеки. Моего возраста. Окончил Петергофскую гимназию. Но рано должен был зарабатывать на хлеб. Работал в Петергофе на телеграфе. Знаю только, что у отца его было два сына: мой Эдуард и Вольдемар — Владимир, которого мы в шутку называли Володя Розовая Горка (переводя на русский не только его немецкое имя, но и фамилию). Эдуард переменил свое имя Эдуард на Федор — «законно». Под влиянием Ивана Михайловича Андреевского, на заседания «Хельфернака» которого он ходил вместе со своими друзьями — Владимиром Тихоновичем Раковым и Аркадием Васильевичем Селивановым, он перешел из лютеранства в православие. Обряд миропомазания (креститься христианину было не надо — надо было совершить только миропомазание, часть крещения) совершил впоследствии расстрелянный отец Викторин, человек высочайшей духовности и исключительной красоты, служивший на Петровском острове в церкви Убежища для престарелых артистов имени Савиной. Помню, как он волновался, расшнуровывая ботинки (миром надо было помазать и ноги), как искренне он молился. В той же церкви у отца Викторина был иподиаконом и Володя Раков. О его горестной судьбе я расскажу потом, чтобы не прерывать рассказа о камере третьей роты.

Благодаря все тому же владыке Виктору, который познакомил меня с Александром Николаевичем Колосовым («папашкой»), заведующим Криминологическим кабинетом, Федор (именем этим назвал его по своей воле отец Викторин) устроился счетоводом в Соловецком сельхозе — там же, где работал и владыка Виктор, которого мы все, молодежь, звали между собой за необыкновенную простоту и симпатичность просто «владычкой».

Все-таки прерву свой рассказ о третьей роте, чтобы рассказать о владыке Викторе Островидове. Я уже рассказал о его необыкновенной простоте и ласковости, но он к тому же был и ученый: автор богословских трудов.

Был он не то из Вятки, не то из Вологды. Сергиансскую церковь не признавал и поэтому в монашескую Онуфриевскую церковь не ходил (группа монахов, остававшихся на Соловках, признавала главу тогдашней церкви — митрополита Сергия, сотрудничавшего с властью). А был владыка «иосифлянин», т.е. принадлежал к той гонимой группе духовенства во главе с митрополитом Иосифом, которая осуждала Советскую власть за гонения на церковь.

Когда летом двадцать девятого года начальство лагеря издало приказ не носить длинной одежды и сбрить бороды, владыка Виктор отказался это выполнить. Он сослался, между прочим, и на то, что сами «вольные» носили длинные до пят «чекистские» кавалерийские шинели (вспомним памятник Ф. Дзержинскому на Лубянской площади в Москве именно в такой шинели). «Владычку» насильно остригли, обрили и при этом изранили лицо, кое-как отрезали длинную одежду, отчего снизу у него болтались лохмотья. Я встретил его на площади сразу же после экзекуции (он выходил из 11-й карцерной роты) — веселого, как всегда улыбающегося, радостного. Он не стал долго распространяться рассказом о том, как производилась экзекуция. Лицо его было подвязано белой тряпкой, и она выглядела, как борода. Так он и ходил до тех пор, пока у него не отросла небольшая борода (вообще-то она у него была не густа и не длинна). Я думал: почему у него такой счастливый вид? И понял... Но чтобы понять, надо самому быть православным. Именно православным, ибо когда католики-ксёндзы на Анзере возили для себя воду в бочке на саночках — у них у всех был вид мучеников, но жили они на Анзере, не принуждаемые к работе. Аввакум же радовался мукам и мучителей называл «дурачками».

Впоследствии, когда в массовом порядке освобождали больных и старых, владыку Виктора вывезли на материк в ссылку, и там мучился он ужасно: голодал, спал на улице (в дома запрещено было пускать). К тому же — болел. В мучениях и умер.

Возвращаюсь к рассказу о третьей роте. Виделся я с Федей в камере редко. Он очень рано уходил на работу и поздно приходил, а я пытался сберечь себя, ложась как только это было возможно раньше: к тому же у меня болела моя язва. В десять часов после нескольких преду-

предительных миганий лампочка под потолком гасла. Федя добирался до постели ощупью. Был он, как немец, очень аккуратен. Над топчаном его появилась полочка, на которой стояла кружка для кипятка и все другое. Общались мы записочками, которые оставляли друг другу. При этом он все превращал в шутку. Писал он хорошие стихи. Помню начало одного такого обращенного ко мне стихотворения:

Отошавши вовсе животишком,  
Одолжить прошу одним рублишком...

Дальше шли строки, в которых обещалось мне этот рубль вернуть к определенному сроку.

Однажды он принес из Сельхоза себе и мне сметаны и зеленого лука. Как это было вкусно! До сих пор люблю сметану с зеленым луком. А я в свою очередь раза два приносил в камеру грибы — красные грибы осенью 1929 года. Пользуясь тем, что у меня был постоянный пропуск и разрешение «папашки», я ходил в лес и собирая невероятное количество грибов. Брал только красные и подосиновики. И то только молодые. Однажды у меня не хватило мешка. Я снял рубашку, завязал рукава узлом и превратил рубашку в мешок. Вечером у нас было пиршество, хотя никаких приправ, кроме соли, у нас не было. Я ел столько, что у меня заболел живот (все та же проклятая, но «родная» язва). После Федя постоянно подсмеивался над моим «обжорством».

Питались мы так. Был в роте дежурный сторож: контрабандист эстонец Язон. Мы ему платили, а он приносил нам утром и вечером медный жбан кипятка. Он же, Язон, ходил в вольнонаемную столовую и приносил обеды, которые давал нам с заднего крыльца заведующий из заключенных Бояр. Хлеб мы получали в общем порядке. На зиму я накупил еще в ларьке преподобного Германа копченых астраханских селедок и постное масло. Очистил селедки, нарезал, положил в стеклянную банку и залил постным маслом. Кроме того, у меня был запас сухих компотных фруктов, которые я заливал с вечера кипятком. Утром компот был готов. Выручала все та же большая эмалированная кружка. Хотя я ее и сполоскивал, но покрыта она была изнутри коричневатым налетом от чая. Однажды я увидел на ней процарапанную по налету надпись: «Моется только в чае». Только тогда я догадался, что кружку нужно не только сполос-

нуть, но и основательно пропустить. Впрочем, мне не ясно — причем тут чай, если пили мы только кипяток? Может быть, мы называли кипяток чаем? Но тогда откуда налет, который действительно бывает от чая?

Загадок передо мной память оставила много. То я ясно вижу пред собою мельчайшие подробности, прямо-таки картины, то не помню основного.

В третьей роте по утрам бывали поверки. Освобожден от них был только «папашка». Мы выстраивались в коридоре в две или три шеренги и при приходе дежурного по лагерю кричали «здрав», пересчитывались, выслушивали постоянные нотации командира роты Егорова (перед Егоровым был бывший комендант Петропавловской крепости барон Притвиц, но он нас не обучал порядку). Егоров был строевой офицер, требовал, чтобы топчаны были аккуратно заправлены, в камерах — чисто. Заслоненный тюфяком с соломой, подушкой с сеном, которые мне добыл Федя из Сельхоза, висел у меня серебряный складень, который дали мне при прощальном свидании мои родители. Складень у меня быстро пропал: взял его Егоров («не положено»). Вернуть себе его я не смог («не положено, не положено!»).

По-своему Егоров заботился о роте. Устроил однажды лекцию А. А. Мейера, устроил «красный уголок», но нравоучения на поверках читал долгие и нудные.

По воскресеньям на площади перед Преображенским собором с северной стороны устраивались генеральные поверки. Происходили они мучительно долго. Над головой у нас летали летом огромные соловецкие чайки, иногда «мстившие пометом» за разоренные гнезда, т. е. метко испражнявшиеся на людей, стараясь при этом попасть в лицо.

Теперь мне бы хотелось рассказать о Криминологическом кабинете («Кримкабе»), куда я попал с нар 13-й роты благодаря отцу Николаю Пискановскому, рекомендовавшему меня Бахрушину и Александру Николаевичу Колосову. Мы помещались в здании бывшей монастырской гостиницы, стоявшей на пристани в бухте Благополучия. К этой пристани подходил и от нее отходил пароход «Глеб Бокий», на борту которого еще оставались остатки надписи «Соловецкий». Теперь вместо паломников он привозил в своем трюме обреченных на горе и смерть, а в палубных каютах — таких действительно



Н. Н. Горский

Гаврила Осипович Гордон  
в бытность московским гренадером

благополучных людей, как Максим Горький со снохой или высокопоставленных членов всевозможных комиссий — будущих жертв самими ими взращенных палачей.

На третьем этаже этой гостиницы, где располагались учреждения Управления Соловецких лагерей особого назначения (УСЛОН), нашел себе комнату и Криминологический кабинет — вместе с гостиной Соловецкого музея — одного из притягательных центров всей соловецкой интеллигенции.

Сперва он размещался в угловой комнате (если идти по гостиничному коридору, поднявшись по лестнице по направлению к морю, то это была последняя комната направо, выходившая в сторону, противоположную пристани). В ней уже работал молодой человек из Ростова-на-Дону Владимир Сергеевич Раздольский и другой молодой человек Александр Артурович Пешковский (родственник известного лингвиста, специалиста по русскому синтаксису). Оба были интеллигентные люди, любители поэзии, знавшие на память множество стихов. Благодаря им у нас в Кримкабе постоянно слышались не только стихи, но велись и литературные разговоры. С уст не сходили имена Пастернака, Блока, Мандельштама, Все-волода Рождественского (он в те годы был «в уровень» с Пастернаком и Мандельштамом), приходили Юрка Ка-

зарновский, Лада (Лидия Михайловна Могилянская), Шипчинский, Борис Брик, Володя Свешников (печатался он под фамилией своей матери, польки, Кемецкий, так как, живя в эмиграции, возненавидел своего отца — полковника Белой Армии, запрещавшего ему возвращаться в Россию). Из всех этих молодых поэтов самым талантливым, изумительно талантливым, был несомненно Володя Свешников. В иных условиях ему принадлежало бы великое будущее. Работал он в соловецкой Библиотеке в Кремле (от входа во вторые ворота направо — там же, где и Солтеатр) вместе с тройкой лихих библиотекарей: Кохом, Б. Бриком и Гречем и еще одним заключенным — Новаком. Первый был член немецкой компартии (все зубы у него вышибли на допросах), второй — поэт из Ленинграда, третий (потомок знаменитого Греча пушкинской поры) — член краеведческого общества «Старая усадьба», а Новак — член венгерской компартии. Все эти люди помогали Володе Свешникову, отличавшемуся не только полной неприспособленностью к жизни, но и опасными взрывами ярости — иногда по пустякам.

Это была молодая компания. Компания постарше возглавлялась «папашкой» Колосовым, сидевшим обычно в самом крайнем углу комнаты, но постоянно выходившим по делам к лагерному начальству, а в перерывах этой тяжелой (в самом деле) работы читавший Тургенева, иногда французские книги, держа в поставленной на локоть правой руке карандаш, на тот случай, чтобы внезапно открывшее дверь лагерное начальство увидело бы его как бы пишущим, а не «бездельно» читающим. Половину своего времени отдавал Кримкабу работавший в лазарете Иван Михайлович Андреевский. Когда Андреевского увезли с Соловков по вызову следователя Стромина, мечтавшего создать большое, «красивое» академическое дело, которое позволило бы властям иметь предлог распустить старую Академию наук и создать новую, Андреевского сменил юрист и массажист Александр Александрович Бедряга (занятие массажем Бедряга совмещал на воле с адвокатурой для заработка).

В какой-то момент 1929 года в стенах Кримкаба появился старый революционер и философ Александр Александрович Мейер — глава известного петроградского кружка «Воскресенье» (об этом кружке см. в воспоминаниях Н. П. Анциферова и многих других). Это был не

только человек необыкновенной образованности, но оригинально мысливший, постоянно проповедовавший свои воззрения философ. С его появлением стала к нам в Кримкаб заходить его первая жена Ксения Анатольевна Половцева, приносившая ему еду в каких-то маленьких кастрюлочках. Об А. А. Мейере и К. А. Половцевой должен быть особый раздел в моих воспоминаниях. Жизнь Мейера состояла не во внешних событиях (их, конечно, было у него, как у старого революционера, много), а в борьбе с самим собой, в сменах своих взглядов, в росте этих взглядов, в постоянных философских спорах с окружающими, а их было в нашем кабинете и с приходившими к нам предостаточно: Александр Петрович Сухов — профессор педагогического института им. Герцена, Гавриил Осипович Гордон, Павел Смотрицкий (художник), скульптор Аносов, а главное — Юлия Николаевна Данзас, доктор Сорбонны, статс-фрейлина государыни Александры Федоровны, уральский казак во время первой мировой войны, ученый секретарь Дома Ученых у Горького, автор многих книг — и до Соловков, и после ее освобождения Горьким и отъезда в католический монастырь на юге Франции. Но о ней должен быть особый очерк, хотя кое-что есть и в эмигрантской литературе. С Юлией Николаевной Данзас мы работали в одной комнате не менее двух лет, но работала она сама по себе, составляя вырезки из газет на разные темы для лагерного начальства. Благодаря этому мы могли читать, хоть и с запозданием, различные газеты (какие именно, не помню).

Заходили в Кримкаб Ширинская-Шихматова (светская беседа с ней очень занимала А. Н. Колосова), редактор Дома Книги в Ленинграде Щурова, уже упомянутая Лада Могилянская (Лидия Михайловна, поэтесса из окружения Коцюбинского в Чернигове), так и сгинувшая в лагерях; ведший до революции светскую хронику в парижских и петербургских газетах Дмитрий Янчевецкий. Он был нашим единственным сотрудником на Анзере. Он был стар, и работа в Кримкабе просто продлевала ему жизнь.

Прочтя это все о Криминологическом кабинете, кое-кто скажет: «Устроились лентяи!» Нет, Кримкаб делал много хорошего. Конечно, он был создан начальством для ширмы: чтобы показать, что у нас на Соловках не наказывают, а перевоспитывают. По-лагерному идея

Кримкаба была «туфтой». Однако, если бы не было Кримкаба, не удалось бы спасти очень и очень многих: и «вшивок», и интеллигентных людей для будущей жизни за пределами Соловков. И работа в Кримкабе порой была очень тяжелая.

Поведу свой неторопливый рассказ о том, что же делал Кримкаб под руководством А. Н. Колосова. Когда Мельников устроил меня в третью роту в камеру к А. Н. Колосову, я еще едва волочил ноги, и у меня было двухнедельное освобождение от работы. Но в конце первой недели А. Н. Колосов попросил меня начать помогать бурно развивавшейся деятельности Кримкаба.

Первый мой большой выход за стены Кремля был в сильный ветер и мороз. Свежий воздух после затхлой камеры опьянял. Я чувствовал большую слабость. Едва я вышел из-под Никольской башни, направляясь в УСЛОН, меня чуть не сдуло в ров. Дорожки было две. Опасная дорожка шла снаружи рва, она сильно обледенела, и устоять в моих бурках на кожаных подошвах было очень трудно. Бурки мне были сшиты еще в голодные годы в Петрограде из бобрика (не знаю — почему такое название было у нас в семье для большого зеленого ковра без всяких рисунков, лежавшего у нас в гостиной) с кожаной «обсоюзкой» и кожаной, всегда скользкой подошвой. Другая дорожка, еще монашеская, шла между стеной и рвом и заканчивалась пешеходным мостиком с перилаами, которого сейчас уже нет. Потом уже я пользовался только этой внутренней дорожкой. Мостик исчез, и восстановить его не догадываются. На этой дорожке у стены с красно-оранжевым, очень красивым лишайником я снят в фильме «Лихачев. Я вспоминаю». Там я стою в задумчивости. И в самом деле, мог ли я подумать в те времена, что вернусь туда через 60 лет с лишним. Одним словом, я все-таки дошел до Кримкаба, где работа и в самом деле кипела. Надо было к весне организовать кабинет так, чтобы он выглядел как серьезное научное учреждение, и Детскую трудовую колонию на 200—300 подростков обоего пола, где бы они «перевоспитывались». Почему была нужда в этом — объяснилось потом. А пока строились приличные бараки, возводилась школа, и мы изобретали форму для трудколонистов. Все эти постройки, за исключением одной-двух, и до сих пор стоят к югу от Кремля. Были еще хорошие плотники из заключенных...

На Квасоваренной и Поваренной башнях Кремля воздвигались шатровые кровли. На них и до сих пор крутятся железные флюгера с датой «1929».

В строительных работах и устройстве обмундирования энергичное участие принимал поволжский немец Линденер. К услугам Кримкаба были привезены из кладовых царской каторги сшитые из солдатского сукна арестантские бушлаты и штаны. Но совсем не годились круглые арестантские шапки. Уж очень эти шапки придавали обладателям их «каторжанский» вид. Линденер предложил их перешить — сделать козырьки, наушники. С работой справился Помоф. С тех пор шапки эти стали называть «линденеровками».

В линденеровках подростки, одетые в добродетельные бушлаты каторжан царского времени, имели вполне приличный вид.

В кабинете меня сразу засадили за работу. Я писал какие-то докладные записки (помню одну — начальнику Культурно-воспитательной части Д. В. Успенскому), но проекты моих записок не нравились А. Н. Колосову: они были написаны просто и, как мне казалось, понятно, а надо их было писать канцелярским языком, которым я вовсе не владел («как явствует из нижеследующего», даже «поелику» и «поколику»). Тогда меня посадили помогать фальшивомонетчику Дуботолкову (он на воле подделывал червонцы, рисуя их простым карандашом — подлинные были как раз «карандашного» цвета). Дуботолков (он вполне оправдывал свою фамилию) срисовывал из атласа профессора психиатрии Россолимо (кажется, так писалась его фамилия) большие таблицы тестов для развещивания их на стенах Кримкаба. Эта работа шла у меня лучше. Атлас Россолимо и кое-какие другие книги, а также аппаратура для измерения емкости легких, силы кисти, роста и т.д. были выписаны по советам И. М. Андреевского и быстро доставлены в Кримкаб.

Работа кипела. Почему должна была кипеть — никто из заключенных не знал. Когда я окреп, мне было дано поручение (и оно оставалось затем за мной долго — не менее года): собирать подростков для Детколонии, которую в конце концов было приказано именовать Трудколонией. Мотивировалось такое выделение подростков тем, что их необходимо было изолировать от влияния

профессиональных воров, взрослых и воспитывать — давать им образование и профессию.

Этой своей работой по спасению из лап смерти сотен подростков я горжусь. Я обходил закоулки общих рот, записывал анкетные данные на подростков и даже краткие их автобиографические рассказы. Впрочем, некоторые рассказы были и длинными: целые романы. Меня спросил кто-то из подростков: «Зачем вы записываете, ведь мы вам все врем». Я ответил ему: «Знаю, но мне интересно». Мне и в самом деле было интересно: как воришки оправдывают свое воровство. Нет преступника, который бы не имел в душе самооправдания. В основном психология преступников пессимистична. С тех пор я осторегаюсь пессимистов даже в быту. Пессимист может быть потенциальным преступником, может быть стукачом-сексотом, может пойти на все: «Ах, что там: все такие!»

Вновь волна жалости захлестнула меня, как в 13-й роте. Я ведь и ходил туда, в эту проклятую роту, постоянно. Потом я ездил в «командировки» — на торфо- и лесозаготовки. Был в Савватиеве, на Секирной, в Филимонове, объездил Анзер. Не был только на Зайчиках.

У меня набрались сотни анкет, по которым Адмчасть вызывала в Трудколонию. Условия, в которых жили подростки в лесу и в 13-й роте, были ужасны. Они бы не прожили там и нескольких месяцев. А жизнь человека — абсолютная ценность, как бы ничтожен и плох он ни был.

Снова повторю: я горжусь тем, что спас многих. Некоторых подростков, особенно в 1930 году, из семей раскулаченных (родители стремились отправить своих детей к знакомым, и этих детей приговаривали к заключению в концлагерь), мне удавалось спасти прямо из Пересыльного пункта, который был построен около Бани № 2 (о ней я писал выше).

В этот короткий период «перевоспитательной лихорадки» возродился и журнал «Соловецкие острова». Вышли не все номера, но кое-что все-таки удалось напечатать под рубрикой «Из работ Криминологического кабинета».

До отъезда Управления лагеря в Кемь огромную (не побоюсь этого слова) роль в жизни Соловков играл Борис Глубоковский. По слухам, он был сыном известного богослова, эмигрировавшего после революции и чи-

тавшего лекции на Теологическом факультете Софийского университета имени Клиmenta Охридского. В прошлом он был актером Камерного (Таировского) театра в Москве. Высокого роста, сравнительно молодой, деятельный, легко вступавший в общение с разными людьми — от воров и лагерного начальства до высокой интеллигенции, он фактически стоял во главе Соловецкого театра и теплившейся в недрах всяческой «туфты» культурной жизни лагеря.

Театр на Соловках был создан для того, чтобы создавать иллюзию воспитательной работы. Создан для «туфты», но служил очень важным психологическим отвлечением для массы заключенных. Попасть на его представления было очень трудно, но зато ходили рассказы о его спектаклях, представлениях — часто веселых. Шутка, смех, анекдоты помогали переносить тяжесть и грубость режима. Грубость сверху нейтрализовалась смехом снизу, если только, конечно, грубость не была простой физической расправой — тогда помогал только лазарет или ...«16-я рота»!

Глубоковский внес в деятельность Солтеатра непосредственность Камерного театра. Ему принадлежала замечательная постановка «Соловецкое обозрение», где лагерная жизнь со всеми ее фантастическими контрастами освещалась и с шуткой, и с лирической грустью, и нотами трагичности. «Обозрение», сочиненное и поставленное Глубоковским, безумно нравилось заключенным и даже начальству. Странно, что в обозрении было такое, за что посадили бы на воле. Когда весной приезжала на Соловки «разгрузочная комиссия» (Бокий, Катанян, Вуль и др.), «Обозрение» показывали и ей вместе с местным начальством. Рассказывали, что Глубоковский вышел однажды на сцену в середине представления и, грозя кулаком в зал, сказал актерам: «Пойте так, чтобы и этим сволочам тошно было». И ничего ему за это не было: Глубоковский был явно пьян, а пьяницы на Соловках пользовались «пониманием» и симпатией начальства.

Приведу и такой пример отношения к пьяницам. Сменивший А. Н. Колосова на посту заведующего Кримкабом Александр Александрович Бедряга уже после моего отъезда на Медвежью Гору напился пьяным у дружков в Пожарной команде, надел пожарную каску и прочую амуницию, пришел в Театр во время антракта и крикнул:

«Пожар!» Поднялась паника, вовремя потушенная. Когда начальство узнало, что Бедряга был пьян, дела никакого не возбудили: «Пошутил, молодец, рубаха-парень». Другой раз Бедряга забрался (через забор) в царскую колокольню и позвонил в колокол. Опять дела никакого не возникло. Правда, при мне еще он сел в карцер за пьянство, и посадка эта принесла Кримкабу некоторые выгоды, но Бедрягу быстро выпустили. А выгоду принесло такую. От Бедряги стали при всех уголовниках требовать ответа: «Откуда брал водку?» Бедряга упорно отказывался ответить, и после, когда Бедрягу выпустили, воры стали охотно рассказывать о себе и ему, и мне.

Возвращаюсь к «Соловецкому обозрению». Состояло оно из нескольких номеров, называлось еще и по-другому — «Соловецкие огоньки», — по песне, которой заканчивалось. Сюжетом песни служило будущее прощание с Соловками. Песня распространилась и за пределами лагеря. Декорация, изображавшая монастырь, погружалась во тьму, и во тьме вспыхивали огоньки — свечки, горящие в бумажных фонариках.

От морозных метелей и вьюг  
Мы, как чайки, умчимся на юг,  
И вдали промелькнут огоньки:  
Соловки, Соловки, Соловки!

После отъезда Глубоковского с УСЛОНОм на материк — в Кемь, прервался и журнал «Соловецкие острова». Год или два он не выходил. Потом Глубоковский приезжал на Соловки из Кеми. Я свиделся с ним на улице недалеко от Сторожевой башни. Он попросил меня дать еще одну статью для журнала (одна — «Картежные игры уголовников» — уже была в редакции и была затем напечатана в № 1 за 1930 год), но я не смог. Что-то с темой о «самооправдании воров» у меня не получилось.

Весной в белую ночь мне удалось посмотреть «Соловецкое обозрение». Впечатление было огромное. Почему я говорю в «белую» ночь? Мне запомнилось, как мы все вышли из погрузившегося во тьму театра (свет долго не зажигали после последней сцены мелькающих вдали огоньков) и нас встретило удивительное небо — светлое и вместе с тем какое-то «папочное», бумажно-голубое. В сочетании с белыми зданиями, недвижным воздухом, затихшими криками чаек (в белую ночь чайки все же

спали) — все это было необыкновенно, казалось нереальным, каким-то сном.

Атмосфера нереальности, невозможности того, что происходит, была разлита во всем, в белых ночах летом и черных днях зимой, в невозможности всего того, что происходило, в массе людей психически ненормальных, в ненормальности начальства, в фантастичности приезда Горького и последовавших затем событиях.

В Солтеатре были и другие постановки. Я помню «Маскарад» Лермонтова. Арбенина играл Калугин — артист Александринского театра в Петрограде, уровня Юрьева. Дублировал Калугина Иван Яковлевич Комиссаров — король всех урок на островах. В прошлом — бандит, ходивший «на дело» во главе банды с собственным пулеметом, грабивший подпольные валютные биржи, ученик и сподвижник Леньки Пантелеева. Его Арбенин был настоящим барином.

Что еще шло в Солтеатре, не помню. Были и киносеансы. Помню фильм по сценарию Виктора Шкловского, где двигались броневики через Троицкий мост в Петрограде. Ветер нес какие-то бумаги. Были и концерты, на которых актеры из урок ловко отбивали чечетку, показывали акробатические номера (особенным успехом пользовалась пара — Савченко и Энгельфельд). Оркестром дирижировал Вальгардт — близорукий дирижер из немцев, впоследствии дирижировавший оркестром в Одессе и еще где-то, получивший даже какую-то государственную премию. Была актриса, истерическим голосом читавшая «Двенадцать» Блока. Была хорошенъкая певица Переведенцева, певшая романсы на слова Есенина (помню — «Никогда я не был на Босфоре») и нещадно изменявшая мужу, работавшему в Кремле и пытавшемуся покончить с собой в одной из рот. В фойе театра читались лекции по истории музыки профессором армянином Анановым. До ареста он работал в театре Руставели, сотрудничал в «Заре Востока». Лекции по психологии читал А. П. Сухов. И еще кто-то и о чем-то.

Но театр так жил только зимы 1930—1931 годов. Затем началась эпидемия азиатского тифа, театр был обращен в лазарет, где вповалку лежали люди почти без помощи. Азиатский тиф сопровождался появлением на теле каких-то черных пятен, и некоторые шепотом говорили, что это самая настоящая чума, занесенная из Средней Азии так

называемыми «басмачами». Эпидемию не знали, как лечить. Когда в камере появлялся больной, то камеру просто запирали и ждали, пока она вся вымрет. Так умер мой знакомый молодой писатель. Он написал роман «Юг и Север» (а может быть, «Север и Юг»). Я потом, по освобождении, искал этот роман, но не нашел. Он просунул мне под дверь чайную ложечку и просил передать ее его жене. К моему удивлению, весной жена приехала (разрешили!) на могилу, но, конечно, могилы не нашла, не нашла и ямы, в которую его бросили, ибо ям таких было много, но серебряную ложечку я ей передал.

Я сильно забежал вперед, отчасти нарочно, чтобы показать, что «соловецкое счастье» было намеренным обманом. Ибо весной к нам на Соловки приехал Горький. Пробыл он у нас дня три (точнее я не помню — все это легко установить по его собранию сочинений, но я этим заниматься не хочу).

Дело в том, что от соловецких беглецов (бежали и польду в Финляндию, и на кораблях, возивших лес) на Западе распространились слухи о чрезвычайной жестокости на наших лесозаготовках, и ряд правительств отказался у нас покупать лес. Лагеря стали убыточными, и надо было уверить Запад, что жестокостей у нас нет, что мы исправляем, а не наказываем заключенных. Для этого и понадобились все те показушные предприятия, в которые мы все в Кремле оказались так или иначе вовлечены.

Кто-то с Запада приезжал в Кемь, но до Соловков не доехал. Нам были поставлены условия: иностранные журналисты должны свободно ездить и смотреть. На материке «чистились» как могли. Приехали журналисты и парламентарии, ездили по лесозаготовкам и многое сфотографировали, особенно когда на тракте Кемь — Ухта у них сломался автомобиль. Надо было лишить их «доказательств». Вызвались карманники, устроили давку у «представителей Запада», в результате которой обчистили их карманы, украли записные книжки и срезали фотоаппараты.

Вот тогда-то и согласился успокоить общественное мнение Запада почтенный наш писатель Алексей Максимович Горький. Кто говорит, что своим враньем он хотел вымолить облегчение участия заключенных, а кто, чтобы вымолить приезд к себе Будберг-Закревской, отказавшейся вернуться вместе с ним в Россию. Не знаю —

какая из версий правильна. Может быть, обе. Ждали с нетерпением.

Наконец с радиостанции поползли слухи: едет на Соловки Горький. Тут уж стали готовиться не только начальники, но и те заключенные, у которых были какие-то связи с Горьким, да и просто те, кто надеялся разжалобить Горького и получить освобождение.

В один прекрасный день подошел к пристани «Глеб Бокий» с Горьким на борту. Из окон Кримкаба виден был только пригород, на котором долго стоял Горький с какой-то очень странной особой. За Горьким приехала монастырская коляска с Бог знает откуда добытой лошадью. А особа была в кожаной куртке, кожаных галифе, заправленных в высокие сапоги, и в кожаной кепке. Ею оказалась сноха Горького (жена его сына Максима). Одета она была, очевидно, по его мнению, как заправская чекистка. Наряд был обдуман. На Горьком была кепка, задранная назад по пролетарской моде того времени.

Мы все обрадовались, все заключенные. Горький-то все увидит, все узнает. Он опытный, и про лесозаготовки, и про пытки на пеньках, и про Секирку, и про голод, болезни, трехъярусные нары, про голых и про «несудимые сроки»... Про все-все! Мы стали ждать. Уже за день или два до приезда Горького по обе стороны прохода в Трудколонии воткнули елки. Для декорации. Из Кремля каждую ночь во тьму соловецких лесов уходили этапы, чтобы разгрузить Кремль и нары. Выдали чистые халаты в лазарете.

Ездил Горький по острову со своей «кожаной» спутницей немного. В первый, кажется, день пришел в лазарет. По обе стороны входа и лестницы, ведшей на второй этаж, был выстроен «персонал» в чистых халатах. Горький не поднялся наверх. Сказал «не люблю парадов» и повернулся к выходу. Был он и в Трудколонии. Зашел в последний барак направо перед зданием школы. Теперь это крыльцо снесено и дверь забита. Я стоял в толпе перед бараком, поскольку у меня был пропуск и к Трудколонии я имел прямое отношение. После того как Горький зашел, — через десять или пятнадцать минут из барака вышел начальник Трудколонии командарм Иннокентий Серафимович Кожевников со своим помощником Шипчинским (сын белого генерала). Затем вышла часть колонистов. Горький остался по его требованию один на

один с мальчиком лет четырнадцати, вызвавшимся рассказать Горькому «всю правду» — про все пытки, которым подвергались заключенные на физических работах. С мальчиком Горький оставался не менее сорока минут (у меня были уже тогда карманные серебряные часы, подаренные мне отцом перед самой первой мировой войной и тайно привезенные на остров при первом свидании). Наконец Горький вышел из барака, стал ждать коляску и плакал на виду у всех, ничуть не скрываясь. Это я видел сам. Толпа заключенных ликовала: «Горький про все узнал. Мальчик ему все рассказал!»

Затем Горький был на Секирке. Там карцер преобразовали: жердочки вынесли, посередине поставили стол и положили газеты. Оставшихся в карцере заключенных (тех, что имели более или менее здоровый вид) посадили читать. Горький поднялся в карцер и, подойдя к одному из читавших, перевернул газету (тот демонстративно держал ее вверх ногами). После этого Горький быстро вышел. Ездил он еще в Биосад — очевидно, пообедать или попить чаю. Биосад был как бы вне сферы лагеря (как и Лисий питомник). Там очень немногие специалисты жили сравнительно удобно.

Больше Горький на Соловках, как я помню, нигде не был. Он со снохой взошел на «Глеба Бокого» и там его уже развлекал специально подиоенный монашечек из тех, про которых было известно, что выпить они «могут».

А мальчика не стало сразу. Возможно — пока даже Горький еще не отъехал. О мальчике было много разговоров. Ох, как много. «А был ли мальчик?» Ведь если он был, то почему Горький не догадался взять его с собой? Ведь дали бы его...

Но другие последствия приезда Горького на Соловки были еще ужаснее. И Горький должен был их предвидеть.

Горький должен был предвидеть, что будет сделана попытка свалить все «непорядки» в лагере на самих заключенных. Это классический способ уйти от ответственности. Сразу после отъезда Горького начались аресты и стало вестись следствие.

Но прежде чем перейти к трагическим обстоятельствам нового (но не последнего) «дела», расскажу о том, что случилось на пристани Попова острова (Острова трудящихся), к которому раньше ожидаемого срока пребывания Горького на Соловках неожиданно подошел

«Глеб Бокий». Там работала на ветру группа заключенных грузчиков в одном белье. Спрятать на этой голой пристани голых людей было совершенно некуда. Командовавший заключенными нарядчик приказал им сомкнуться как можно теснее и присесть на корточки. Затем накрыл всех брезентом — будто это груз, укрытый от дождя. Так они там и сидели. Впрочем, некоторые говорят, что случай это был не по пути «оттуда», а по пути «студа» и пароход довольно долго не отходил.

Лето 1929 года было теплым и прекрасным. Шли этапы, к которым надо было быть готовым. Я научился уже давно держать вещи готовыми к вызову: «Вылетай пулей с вещичками!» К осени аресты стали расти. Арестовали Сиверса, Готорон де Ла Фосса, арестовали моего знакомого с Сорткоиспытательной станции (теперь на ее месте аэродром), но главные аресты пришлись на октябрь месяц. Арестовали Георгия Михайловича Осоргина — делопроизводителя Санчасти, освобождавшего от тяжелых работ многих интеллигентов. Помню его отлично. Бравый блондин среднего роста с круглой шапкой чуть-чуть набочок («два пальца над правым ухом — три над левым»). Часто он ходил в мороз с открытой головой. Всех, кого арестовывали, уже не выпускали, они были обречены. Неожиданно к Георгию Михайловичу приехала жена на свидание, Голицына. Под честное слово (были же такие времена!) его выпустили из карцера. Затем приказали ему уговорить жену уехать на два или три дня раньше. Он это сделал. Жене он не сказал, что будет расстрелян. В день расстрела арестовали (добавили к списку) Багратуни, Гацука и Грабовского — всех троих на Спортстанции. Я перечислил немногих из своих знакомых — тех, кого помню.

28 октября по лагерю объявили: все должны быть по своим ротам с такого-то часа вечера. На работе никто не должен оставаться. Мы поняли. В молчании мы сидели в своей камере в третьей роте. Раскрыли форточку. Вдруг завыла собака Блек на Спортстанции. Это выводили первую партию на расстрел через Пожарные ворота. Блек выл, провожая каждую партию. Говорят, в конвойе были случаи истерик. Расстреливали два франтоватых (франтоватых по-лагерному) с материка: начальник войск Соловецкого архипелага Дегтярев и наш начальник Культурно-воспитательной части Д. В. Успенский. Про

Успенского говорили, что его загнали работать на Соловки, чтобы скрыть от глаз людей: он убил своего отца (по одним сведениям, дьякона, по другим — священника). Срока он не получил никакого. Он отговорился тем, что «убил классового врага». Ему и предложили «помочь» при расстреле. Ведь расстрелять надо было 300 или 400 человек. Часть расстреливали на Секирке.

С одной из партий получилась «заминка» в Пожарных воротах. Высокий и сильный одноглазый профессор баллистики Покровский (как говорят, читавший лекции в Оксфорде) стал бить деревянной ногой конвоиров. Его повалили и пристрелили в Пожарных воротах. Остальные шли безмолвно, как завороженные. Расстреливали прямо против женбара. Там слышали, понимали — начались истерики. Могилы были вырыты за день до расстрела. Расстреливали палачи пьяные. Одна пуля — один человек. Многих закопали живыми, слабо присыпав землей. Утром земля над ямой шевелилась.

Мы в камере считали число партий, отправляемых на расстрел, — по вою Блека и по вспыхивавшей стрельбе из наганов.

Утром мы пошли на работу. К этому времени наш Кримкаб был уже переведен в другое помещение — комнату налево от входа рядом с уборной. Кто-то видел в уборной перед умывальником Успенского, смыдавшего кровь с голенищ сапог. Говорят, у него была приличная жена...

У Осоргина, как я уже писал, тоже была жена. Я ее помню, мы встретились у Сторожевой башни, Георгий Михайлович меня представил, — брюнетка, выше его ростом. Какую надо иметь выдержку, чтобы не сказать жене о своей обреченности, о готовящемся!

А Блек убежал в лес. Он не пожелал жить с людьми. Его искали. Особенно искали Успенский и начальник войск Соловецкого архипелага латыш Дегтярев по прозвищу «главный хирург» (он обычно расстреливал одиночек под колокольней). Однажды я видел его бегающим в длинной шинели в толпе заключенных с «монтекристом» и стреляющим в собак. Раненые собаки с визгом разбегались. Полы длинной чекистской шинели хлопали по голенищам. После той ночи с воем Блека Дегтярев возненавидел собак. А за камень,пущенный в чайку, заключенного чуть ли не расстреливали.

В следующем, 1930 году, над Соловками грянуло новое несчастье. Впрочем, могло ли произойти что-то «новое» в том фантастическом кошмаре, в который были погружены Соловки?

Однажды утром летом 1930 года в кабинет явился подросток-колонист и вручил А. М. Колосову большой сверток. Развернув его, Колосов побледнел и долго сидел в задумчивости. Наконец он попросил сходить вниз, где размещалась с монастырских времен типография, и пригласить к себе заведующего — Молчанова. Молчанов пришел. Помню, что первое время они тихо говорили между собой, читая и разглядывая большой лист ватманской бумаги. Затем к совещанию пригласили всех сотрудников. Лист ватманской бумаги оказался манифестом о вступлении на всероссийский престол Иннокентия I Серафимовича Кожевникова. Обещалась амнистия всем заключенным, предлагалось захватить соловецкие суда, захватить Кемь и двигаться на Петроград.

Что делать? Шутка угрожала жизнью всем, кто прочел этот «манифест», — включая мальчишку. Решили, впрочем, сбегать к Кожевникову и узнать — в чем дело. Пошедший вернулся: Кожевников поверку в Трудколонии не принимал. Его нет, нет Шипчинского, окно в их комнате открыто. Тогда с выражением страдания на лице (он действительно страдал морально) Колосов поднялся и вместе с Молчановым пошел в ИСЧ, одна из комнат которой помещалась на втором этаже здания УСЛОНа. А весь лагерь уже кипел. Слухи не ползли — летели. Говорили — к берегам острова подошла миноноска и взяла Кожевникова на борт. Начались поиски. Никто не сомневался, что это хорошо организованный побег. Кожевников решил даже посмеяться над начальством, «издав» манифест. Весь лагерь ликовал. Но вот дошел слух: Кожевников и Шипчинский пытались убить часового у порохового склада, стоявшего в поле справа от Филимоновской дороги. Значит они не бежали, скрываются на острове!

Каждый день поступали сведения: видели! не видели! Следы их пребывания обнаружены там-то. Напряжение в лагере было страшное. Примерно через две недели обоих захватили. Они сопротивлялись у какой-то елки, под которой жили. Был у них топор. Отбивались топором. Приказ был — захватить живыми.

Помню отлично чей-то крик: ведут, ведут! Мы бросились к окнам Кремкаба. Я ясно вижу. Первым волокут в бессознательном состоянии Кожевникова. Волокут под руки. Ступни ног выворочены, тащатся по мосткам, ведущим прямо на второй этаж УСЛОНа. Голова висит. Лысина в крови. За ним ведут с выкрученными назад руками Шипчинского. Он идет гордо, но странно дергаясь. Как шел допрос — не знаю.

Оказалось: Кожевников сошел с ума, Шипчинский же решил его не покидать. Жили они в лесу (уже была осень). Хлеб им давал «ковбой» Владимир Николаевич Дегтярев, живший в Дендрологическом питомнике. Этот мужественный человек был невысок, ловок. У него были ковбойские перчатки и ковбойская шляпа. Когда-то он учился в гимназии Мая в Ленинграде (в «моей» гимназии). Решил бежать в Америку еще до первой мировой войны. После революции вернулся. Поплатился десятью годами. Он был великолепный чудак. Отказывался ходить в Кремль пешком. Ему дали козла. Всю дорогу до Кремля (когда ему нужно было туда явиться) он вел козла, но перед Никольскими воротами садился на него верхом и, въезжая, выхватывал из-за раструбов своих перчаток пропуск для предъявления часовому. Почему разрешалась ему вся эта игра — не знаю, но он был совершенно честен. Вероятно, «начальству» нравились не только пьяницы, но и чудаки. Когда обнаружилось, что он помогал беглецам, я предположил, что его неминуемо расстреляют. Но нет... Уже после моего освобождения, идя с работы как-то пешком по Большому проспекту Петроградской стороны, по которому в те времена ходил трамвай, я изумился: на полном ходу из трамвая выскочил Дегтярев, подбежал ко мне (с площадки заметил) и сказал, что работает лесничим в каком-то заповеднике в Средней Азии. С приветственным возгласом: «Привет вам с (какого-то) Алатау!» — он бросился за следующим трамваем и исчез. Значит, жив! И я был ему рад как только мог.

Впрочем, и Кожевников оказался жив. Его видели в Москве, не то входящим, не то выходящим из Кремля. Сказались, очевидно, прежние революционные заслуги, заслуги в Гражданской войне. Шипчинского расстреляли и многих с ним. Испуганное начальство решило прибегнуть к остракстке. Начались аресты. Заваривалось какое-

то дело о попытке восстания, но потом и дела не стали стряпать.

Осенью ко мне приехали на свидание родители. Мы жили в комнате какого-то вольнонаемного охранника (были охранники и из заключенных), с которым родители познакомились на пароходе «Глеб Бокий» и договорились с ним о его комнате за какую-то плату. Комната его была в гостинице, что на горушке сзади УСЛОНа. Там помещалась и фотография для вольнонаемных, где меня дважды в разное время снимали с родителями по разрешению Мельникова, и лечпункт с главным легпромом Тайбалиным. Тайбалин, кстати, писал стихи и взял к себе работать не говорившего по-русски старика — «лучшего певца Старой Бухары». Из окон нашей комнаты, обращенной в сторону Сельхоза, мы видели, как восточные люди в шелковых халатах и шелковых сапогах на высоких каблуках беспомощно что-то делали. Вскоре все эти «басмачи», как их называло начальство, вымерли, не выдержав ни холода, ни условий работы...

Так вот. Я жил у родителей, аресты шли. Однажды ко мне пришли вечером из роты и сказали: «За тобой приходили!» Все было ясно: меня приходили арестовывать. Я сказал родителям, что меня вызывают на срочную работу и ушел: первая мысль была — не при родителях! Я пошел к Александру Ивановичу Мельникову в комнату,

*Семья Лихачевых.  
Соловки (1931 г.)*



где он жил над шестой ротой и Филипповской церковью. Стучусь, он не открывает. Но уйти он не мог. Я стучусь все громче. Наконец Мельников мне отворяется. Он одет. За столом сидит молодая женщина — я ее знал, она была схвачена по делу о фальшивых деньгах.

Увидев меня, Мельников успокоился.

Успокоился и сделал мне строгое внушение. Смысл этого внушения состоял в следующем: «Если за вами пришли, — нечего подводить других. За вами могут следить». Дверь захлопнулась. Я понял, что поступил плохо. Ведь и он мог быть подведен под расстрел: схватили же делопроизводителя Санчасти! Адмчасть была еще более ненавистна ИСЧ (Информационно-следственной части), готовившей расстрелы, чем Санчасть. Мельников в прошлом тоже офицер, как и Осоргин.

Сквозь события этой ночи, вспомнилась мне и еще одна деталь. Летом приезжала к Мельникову его жена Ольга Дмитриевна, знакомая моей матери. Они пригласили меня на чай. Я видел: оба расстроены. Наконец жена спросила меня, и Мельников подтвердил вопрос: изменяет ли он (Мельников) семье? Вопрос был для меня неожиданным. Я совершенно ничего не знал. Решил, что вопрос этот — шутка и решил ответить шуткой: «Да, надо бы пожаловаться...» и пр. После Мельников сделал мне краткий выговор: «Не знаете — и говорите, что не знаете». И все-таки глупость моего ответа, мне кажется, успокоила жену Мельникова: если бы что-то было, я бы врал серьезно. Все это мелькало в моем мозгу: ведь какого страха натерпелись оба, Мельников и его любовница, когда я к ним безумно стучался.

Выйдя на улицу, я решил не возвращаться к родителям, пошел на дровянной двор и запихнулся между поленицами. Дрова были длинные — для монастырских печей. Я сидел там, пока повалила толпа на работу, и тогда вылез, никого не удивив. Что я натерпелся там, слыша выстрелы расстрелов и глядя на звезды неба (больше ничего я не видел всю ночь)!

С той страшной ночи во мне произошел переворот. Не скажу, что все наступило сразу. Переворот совершился в течение ближайших суток и укреплялся все больше. Ночь была только толчком.

Я понял следующее: каждый день — подарок Бога. Мне нужно жить насущным днем, быть довольным тем,

что я живу еще лишний день. И быть благодарным за каждый день. Поэтому не надо бояться ничего на свете. И еще — так как расстрел и в этот раз производился для острастки, то, как я узнал, было расстреляно какое-то ровное число: не то триста, не то четыреста человек. Ясно, что вместо меня был «взят» кто-то другой. И жить надо мне за двоих.

Что-то во мне оставалось и в дальнейшем, что упорно не нравилось «начальству». Сперва я валил все на свою студенческую фуражку, но я продолжал ее упорно носить до Белбалтлага. Не «свой», «классово чуждый» — это ясно.

К родителям я уже в тот день вернулся спокойный. Не знаю: снялся ли я с родителями до той ночи или позже. На одной — я сфотографирован с родителями и моим младшим братом, но брата в тот приезд не было. Значит, я там, где нас трое, а не четверо.

И все-таки тяжесть человеческих утрат меня давила. Особенно жалко мне было тщедушного Шипчинского — всегда веселого и несгибаемого. Это именно он придумал вывесить над Никольскими воротами потрясающий всех лозунг. Начальник КВЧ (Культурно-воспитательной части), в которой работал Шипчинский (Трудколония подчинялась КВЧ), попросил Шипчинского: «Придумай мне лозунг, из которого ясно было бы, что у нас на Соловках делается все для социально близких — рабочих и крестьян». Шипчинский выпалил: «Соловки — рабочим и крестьянам». Начальник (все тот же Д. В. Успенский) ответил: «Во здорово!» — и приказал писать плакат. Я передаю, конечно, только смысл разговора, о котором рассказывал Шипчинский. Возможно, стрелял в затылок Шипчинского именно Успенский.

А у Шипчинского появился перед расстрелом какой-то роман с молоденькой хромой балериной (ногу ей перебили на следствии). Им удавалось как-то видеться. После трагической гибели Шипчинского мне особенно было их обоих жалко.

В 1929—1930 годах в Кримкабе проводились беседы, центром которых был Александр Александрович Мейер. Темы бесед я уже забыл. Да и не было темы: разговоры переливались, возникали, возобновлялись. Я был в обстановке кружка «Воскресенье», который в Питере возглав-

лял Мейер, я был в обстановке ВОЛЬФИЛЫ, религиозно-философских собраний начала XX века. И все-таки заботы Детколонии возвращали нас постоянно к лагерной действительности. Можно ли перевоспитать подростков. Как перевоспитать? А. А. Мейер склонялся к мысли, что перевоспитать трудом можно. Он написал статью на эту тему в «Соловецкие острова». Когда статья вышла, против Мейера восстали многие из его кружка «Воскресенье», считая, что он изменил принципу свободы. Для него это было очень тяжело. Он в своей статьеставил акцент на *труде*, а его друзья и ученики подчеркивали, что он говорил в статье о *принудительном труде*. Другая тема наших бесед, которую начал Владимир Сергеевич Раздольский — молодой человек, чуть старше меня, непрерывно дымивший трубкой, которую он почему-то называл «собачкой». В шуме камеры и суете Кримкаба Раздольский ухитрялся изучать «Фауста». Из этого чтения постепенно возникла тема культуры. Он написал и какую-то работу. Мейер на нее отвечал<sup>1</sup>. Не только отвечал, но думал и писал сам. Что-то сохранилось в его рукописях на эту тему. Может быть следовало бы разыскать и напечатать — работа тесно соприкасалась с вопросами культуры. Ксения Анатолиевна Половцева мало участвовала в этих разговорах. Она успевала приносить еду Александру Александровичу и спешила назад — на работу. Я был прежде всего слушателем. Юлия Николаевна Данзас вставляла только замечания — всегда к месту, всегда умные. Приходил, но редко, Павел Фомич Смотрицкий.

Я плохо помню зиму 1930/31 года. Колосова сменил на посту заведующего Кримкабом Александр Александрович Бедряга, не обладавший даром личности, как многие другие кримкабовцы. Выделялся Александр Петрович Сухов, сочинявший роман и читавший нам отрывки. Они не производили сильного впечатления. Прототипом главного героя служил Володя Раков, действие разворачивалось на Петровском острове у отца Викторина

<sup>1</sup> По-видимому тема «Фауста» в связи с проблемами культуры занимала А. А. Мейера и впоследствии — когда он работал в Дмитровлаге. Во всяком случае, в числе рукописей, сохраненных после его смерти К. А. Половцевой, значится и такая: „«Фауст» (Размышления при чтении «Фауста» Гёте)“.

(впоследствии расстрелянного в Ленинграде). Гораздо интереснее были разговоры в Кримкабе вокруг Александра Александровича Мейера. Юлия Николаевна Данзас умела молчать, но мы узнали — ей все же удалось подать письмо Горькому. Она ждала. Приходил веселый и деятельный Михаил Иванович Хачатуров, все наши поэты. Приходила Лада Могилянская, спевшая нам песню, подхваченную ею в женбараке:

Стоит фраер на фасоне  
И вся ряжка в муке.  
Йон у сером балахоне  
И у сером колпаке.  
Мы к нему эта подходим,  
Говорим: «Как вас звать?»  
И у комнату заводим,  
Чтоб девчонок показать.  
Увидал это Марфушку,  
Побелел, точно мел,  
... (*забыл строку*) ...  
И конечно запел:  
«Ах вы, милая Марфуша,  
Накажи меня Бог,  
Положу свою душу  
Я у ваших милых ног.  
Без любовной отрады  
Невозможно прожить»  
... (*забыл*) ...  
А она на него скесит.  
Говорит: «Ги, ги, ги!»  
И то голдову повесит,  
То глазами на круги.  
«Не могу я быть вашей,  
Вашей верной женой.  
Меня любит черный Саша  
И Володя, боже ж мой!  
Они храбрые парнишки  
И нас с вами найдут:  
Вам повыпustят кишки,  
Мене морду набьют.  
На мою на могилку  
Да никто не придет,  
Только ранней весною  
Соловей пропоет!»

Пелась эта песнь на мотив «Позабыт, позаброшен». Я часто ее напевал, и один из молодых шутников поместил в «Соловецком листке» (эта маленькая газетка, в которой печатались приказы, рецепты от вшей и пр.) заметку: „Сотрудник Криминологического кабинета Д. С. Лихачев пишет повесть под названием: «Стоит фраер на фасоне»”.

А. М. Сухов увлекся в это время одним альбомом воришки, в котором он изобразил в картинках и стихах свою жизнь. Отрывки из этого альбома он опубликовал в каком-то издании в Кеми. Я жалел: надо было воспроизвести его целиком. Это был какой-то воровской Пиромани, но еще и со стихами, чрезвычайно выразительными в своей примитивности и неграмотности. Какой-то XVII век!

Отходил последний пароход (кроме «Глеба Бокого» между Кемью и Соловками курсировал еще морской буксир «Нева» с баржей «Клара» на прицепе; впоследствии «Нева» вместе с ее капитаном Пуаре опрокинулась на крутой волне). К пароходу собирали и тех, кто должен был освобождаться зимой до весенней навигации. Вызвали и А. Н. Колосова. Мы устроили ему в камере третьей роты прощание. Все собрались со своей провизией за кружкой кипятка. Говорились речи. Александр Артурович Пешковский произнес «политическую речь», объявил: «Нам такие люди будут нужны» и пр. Значит, был уверен, что среди собравшихся нет стукачей или, как их тогда называли, «сексотов». Помню, что я на этом прощальном вечере расплакался. Я долго этого потом стыдился, но, вспоминая сейчас, я вижу, что даже сравнительно со своими сверстниками на Соловках, я был еще совсем мальчиком. Может быть, благодаря моей доверчивости и неопытности привыкшего к семейной обстановке мальчика, ко мне и было такое хорошее отношение — людей совсем разных. Уезжая, А. Н. Колосов просил меня отнести икону Симона Ушакова (подписьную) «Спас Нерукотворный» в фотографию для вольнонаемных и сделать для него снимки. Мне это не удалось, и до меня доходили слухи, что Александр Николаевич на меня сердится. Возможно, что А. А. Пешковский такой снимок и сделал бы. Тут надо было обходить препятствия.

Весной мне предложили переехать в «артистическую», седьмую роту. Бедряга остался в третьей.

Сперва я попал в камеру — бывшую монашескую кладовку. Камера была очень холодной, квадратной, на четырех. В ней жил армянский художник Миганаджан, ученик Репина. Камера славилась тем, что лампочка в ней была обрамлена расписанным акварелью уютным абажуром. Миганаджан был мастером портрета. Помню, что ему принадлежал портрет старого генерала Эрдели и

генерала Генерального штаба Баева. Красная склерозированная кожа лица, светло-желтый фон. Был Миганаджан невысокого роста и очень милый. Жили там еще два украинца, певшие украинские песни. Высокого роста, они явно не помещались на своих топчанах.

Пели «Заповіт» (не знаю по-украински), про Морозенку. Эти вещи я помню.

В этой же камере находился одно время Володя Свешников (Кемецкий). В камере этой Свешников написал одно из своих лучших стихотворений, в котором были такие строки, которые я запомнил:

Отныне жребий мой из кельи сонной  
Следить полет прямой и неуклонный  
Широких туч, катящихся на юг.

Были и еще строки, запомнившиеся мне:

И ветер ходит скорыми шагами  
Вдоль ржавых стен угрюмого Кремля.

Стихотворения Свешникова печатались в «Соловецких островах», но, разумеется, далеко не все. Собрание его сохранившихся стихов и воспоминания о его жизни после освобождения есть в редакции «Нашего наследия» у В. П. Енишерлова. Чудом сохранились...

Потом я переехал в камеру, выходившую на двор поверок (чуть левее), третью справа. Под камерой на втором этаже находилась музыкантская команда, беспрерывно репетировавшая старые марши под новыми названиями. Иногда эти марши веселили, но чаще надоедали. Если бы не работа, на которую я уходил ежедневно, кроме воскресений, пребывание в ней под звуки бравурных маршей было бы тяжелым. В камере оказались интересные люди: мой сослуживец из Ростова-на-Дону Владимир Сергеевич Раздольский-Ратошский, потом тот же Свешников, переехавший на освободившееся место, а главное, Гаврила Осипович Гордон, член ГУСа (Государственного ученого совета, профессор всеобщей истории, автор учебника) — человек необыкновенной учености, ухитрившийся даже в лагерных условиях в дополнение ко всем своим иностранным языкам изучить арабский, но вечно попадавший в разные неприятные истории из-за своей несдержанности на язык (впоследствии он получил второй срок за то, что в период паспортизации

сослался на статью о паспорте в первом издании Большой советской энциклопедии и сгинул где-то у Рыбинского моря). У него, как и у А. А. Мейера, у А. П. Сухова, у Ю. Н. Данзас, у И. М. Андреевского, у А. Н. Колосова, я многому научился.

Во главе роты был эстонский офицер Кунст (назначались начальниками не без юмора — по фамилиям: Кунст во главе артистической роты, Берри-Ягода в Ягодно-сборочной организации, — я уже забыл много таких назначений). По Кунсту седьмая рота называлась еще Кунсткамерей, что очень ей шло.

Появился в нашей камере и А. И. Анисимов, занимавшийся под покровительством Николая Николаевича Виноградова в Музее расчисткой икон (помню большую икону XV века, которую он расчищал на хорах Благовещенской церкви — там было хорошее освещение и висели по стенам великолепные акварели Браза — виды Соловков; сам Браз был освобожден за год до моего появления на Соловках и уехал в Париж по купленному на валюту паспорту).

Кунст был ошеломляюще находчив. Он делал все, чтобы спасать заключенных от неприятностей. Вот один из примеров его чисто военной находчивости. Я уже писал, что новый заведующий нашим Кримкабом Александр Александрович Бедряга был не дурак выпить. Зимой водку привозили с риском для жизни поморы из заключенных на больших лодках «почтарках» (на лодках этих возили почту). Прибытие на остров почтарок означало — будут письма, будет водка, хоть и по дорогой цене. В дни прибытия пьяные были и среди заключенных, и среди вольнонаемных. Первым пил начальник острова Петя Головкин — пьяница жуткий. Петей его звали заключенные из симпатии к его страстишке. Впрочем, он был страшен. Страшен, когда, напившись, начинал с азартом искать пьяных по ротам. Он знал, что почтари привезли водку не только для него. Пьяным он обходил роты с компанией охранников. Зашел в третью роту, открыли камеру, в которой когда-то жил я, и застали мертвячки пьяного Бедрягу, лежавшего на топчане, несмотря на команду: «Смирно!» Петя спрашивает: «Кто такой?» Дневальный отвечает: «Больной!» — «Я покажу, какой больной», — и пошел по другим камерам. А в это время явились мы и на руках вынесли Бедрягу в седьмую

роту. Вернувшись в камеру, Петя обнаружил отсутствие «мертвого тела». Ринулся искать его по другим ротам и зашел в нашу, седьмую. Видимо, кто-то донес. Накинулся на Кунста: «У тебя, такой-то сякой, в роте бардак!» Кунст взял под козырек и веселым голосом бодро отвечает: «Так точно, гражданин начальник, бардак! Все в порядке!» Петя, которого самого изрядно развезло и который потерял способность соображать, нелепо уставился на Кунста: «Так все в порядке, говоришь?» Повернулся и ушел. А хотел было и Кунста заставить пройтись по одной половице (любимая Петина проверка на трезвость). Впоследствии, переведенный на материк, Петя написал статью в местную лагерную газету о вреде пьянства. Видно, заставили. Вот была потеха читать эту статью!

Между тем головами начальства овладевала новая погоня за успехом у Сталина. С Соловков начался массовый вывоз заключенных на материк. Задолго до официального открытия строительства, соединяющего Белое и Балтийское моря, в Медвежьей горе уже строилось здание нового управления Беломорканалом, воздвигались бараки для заключенных в Медвежьей горе и в Повенце, а может быть, и в других местах.

Уехал и Володя Раков, и Федя Розенберг, и многие другие. Жить стало еще тоскливо. Я подружился с племянником Короленко, сыном его брата Владимиром Юльяновичем Короленко. Он часто приходил в Кримкаб, благо работал в том же здании УСЛОНа, кажется, юристом. Он был замечательным рассказчиком. При этом энергично жестикулировал, и это подчеркивало отсутствие безымянного пальца на левой руке: явный саморуб. Только впоследствии я узнал, что это было сделано не для отказа от работы. Он хотел заглушить в себе боль раскаяния: на следствии не устоял и кого-то выдал. Он тоже получил пропуск, и мы вместе гуляли по окружающим Кремль лесам, восхищались красотой острова, небес, игрой красок на море, закатами. Ясно помню такую картину. Уже вечерело. Была осень, и мы попали к озеру по Савватиевской дороге. Снега еще не было, но поверхность озера уже была покрыта тонким слоем льда. Мы бросали с ним камни так, чтобы они скользили по льду. Они уносились во тьму на очень далекое расстояние. Потом мы подбрасывали камень кверху, он падал верти-

кально вниз и пробивал лед. На черной поверхности льда появлялся белый пузырь воздуха и начинал двигаться от нас к чистой воде. Становилось совсем темно, и только белые пятна воздуха под тонким черным льдом были видны пропадающими вдали. Почему я это запомнил? Верно, потому, что в детстве в Куоккале я любил бросать камни в море, «печь блины» и бросать круглые камни вертикально вверх, чтобы, падая с высоты в воду, они издавали красивый звук, напоминающий звук открывающей пробки в бутылке.

Я считал своим долгом ходить на Пересыльный пункт и выручать оттуда интеллигентных людей. Помню, что я выручил Михаила Дмитриевича Приселкова — замечательного историка, историка русского летописания. Предложил ему работать в Музее (договорившись с Н. Н. Виноградовым), но Михаил Дмитриевич отказался. В конце концов нам удалось устроить его счетоводом в Сельхозе. К М. Д. Приселкову я чувствовал особые симпатии. Его отец был настоятелем Владимирского собора в Петербурге, где мой дед Михаил Михайлович Лихачев был старостой. Отец мой хорошо знал многодетную семью Приселковых.

В другой раз я выручил из Пересыльного пункта историка Василенко. Как-то решил ему показать остров, вывел его из Кремля, и мы пошли в лес — в сторону Переговорного камня. Ходить туда заключенным не разрешалось ни под каким видом. Объезжал побережье на лошади и с собачкой сам «главный хирург» Дегтярев. Он нас и накрыл. Меня узнал и пригрозил Секиркой, но ничего не сделал. «В следующий раз...» Далее шли ругательства.

Но меня тянуло к морю. Как-то я сидел на Кислой губе. И вдруг, о ужас, на противоположной стороне губы залаяла собачонка Дегтярева. Я бросился в лес, рассчитывая уйти, пока на лошади он объедет губу. Бог спас. Через болотистую речушку, где конь пройти не мог, лежала огромная ель, старая, подгнившая, почти без ветвей. Меня точно поддерживало что-то с обеих сторон и я, как на крыльях, перешел на другую сторону, скрывшись в кустах. В 1986 году я побывал в тех местах. Мало что изменилось. На севере лес растет медленно. Но если уже не было — сгнила.

Федя из Медгоры слал мне вызов за вызовом. Не

хватало счетного персонала. На воле стали срочно арестовывать бухгалтеров, даже самых молчаливых, на которых нечего было доносить. Меня Федя характеризовал как выдающегося счетного работника, которому можно поручить главную картотеку Беломорканала. Меня вызывали («Вылетай пулей с вещишками!») и отправляли с вещами. Из той же седьмой роты, из музыкантской команды, брали полковника Семеновского полка Владимира Владимировича Олохова, раздевали догола в Бане № 2, дезинфицируя вещи, и спустя два-три часа... отправляли назад. Это продолжалось не раз и не два. У меня уже был заказан чемодан — очень прочный: из фанеры, оклеенной старой лазаретной простыней, и покрашенный в коричневый цвет. Кто мог, заказывал себе такие чемоданы.

Мы с Короленко, которого не вызывали (у него было десять лет), решили увековечить свое пребывание на Соловках. Он достал молоток и зубило, мы отправились по Муксаломской дороге и направо (а может быть, налево?) между двух продолговатых озер на вершине небольшой продолговатой же горы нашли камень. Он был нам по грудь. С южной стороны этого камня мы стали выбивать наши фамилии. Я успел — «Лихач», он — «Корол». Потом кто-то от него передал мне, что Короленко добил обе наши фамилии. Не знаю... Но когда я вернулся в роту, мне сообщили, что меня снова вызывали.

Мальчик лет двадцати однажды вечером зашел в Кримкаб и предложил мне показать мое дело. Я зашел в комнату на втором этаже без окон, сплошь заставленную стеллажами с делами заключенных. Он забрался на лесенку и протянул мне мое дело. Это, помнится, была тоненькая тетрадочка в синей или коричневой обложке с моими анкетными данными (возраст, срок, статья и пр.). Сверху была только надпись: «Имел связь с повстанцами на Соловках». Эту надпись я запомнил твердо. Последний расстрел по делу сошедшего с ума Кожевникова аукнулся мне такой надписью. Из-за нее-то меня и не выпускали с острова. Я был «невыездной». «Невыездным» я бывал впоследствии не один раз, но уже не на материк, а за границу.

В следующий приход «Глеба Бокого» я выехал в Кемь. Я уже свободно стоял на палубе, смотрел на удаляющийся остров.

И вдали промелькнули огоньки:  
Соловки, Соловки, Соловки...

Ночевал я в Кеми на Вегеракше в бараке, а утром в вагонзаке с другими меня отправили в Медвежью гору.

Приезд в Медвежью гору был для меня праздником. Я чувствовал освобождение, хотя предстояло мне перенести еще немало жестокого. Но я видел через цепи конвоя «вольных» людей, свободный город. Это так было важно. К тому же после тьмы соловецких зимних дней здесь сверкало солнце.

Когда нас привели за проволоку и построили, я вдруг услышал женский голос, выкрикнувший: «Дима Лихачев!» Я изумился. Это Федя Розенберг послал свою сотрудницу меня встретить и устроить.

Но здесь начинается другая история — история моего пребывания на Беломорско-Балтийском канале. История далеко не легкая.

Публикуется впервые.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Тридцатые годы были для меня тяжелыми годами. Осенью 1932 года я поступил работать литературным редактором в Соцэкгиз, помещавшийся на Невском в Доме книги. Не успел я немного освоиться с работой, как у меня начались жесточайшие язвенные боли. Я не обращал на них внимания, не соблюдал диету, продолжал ходить на работу. В трамвае мне стало однажды дурно, приняли за пьяного, стали упрекать: такой молодой и уже с утра пьян. Кое-как я доехал до Дома книги, поднялся, сел за свой письменный стол и потерял сознание. У меня хлынула горлом черная кровь. В полуబессознательном состоянии меня доставили в Куйбышевскую больницу. В приемный покой вызвали родителей и сказали им прямо: потеря крови чрезвычайно большая и надежды почти нет. Но меня спас хирург Абрамзон (в блокаду его разорвало на мелкие части снарядом), который тогда стал делать первые опыты переливания крови. Донор стояла со мной рядом, и кровь непосредственно от нее текла мне в вену, которую раскрыли на сгибе правой

руки. Помню это как во сне. Помню полублаженное состояние: ничего не хотелось, не было страха смерти, прошли боли. Я пролежал в больнице несколько месяцев, затем лежал в Институте питания (был такой в Ленинграде) и занимался беспорядочным чтением. Чтение, чтение и чтение. Потом снова пошли поиски работы. Я устроился работать в типографию «Коминтерн» корректором по иностранным языкам. Боли возобновились; приходя домой, я валился в постель и заглушал боль чтением. Недостатка в книгах не было. Труд корректоров, считавшийся тогда тяжелым, ограничивался шестью часами. В пять часов я был уже дома и в постели. Благодаря связям отца в типографиях и возможности получать книги из превосходной библиотеки Дома книги, чтение мое приобрело более систематический характер. Я читал книги по искусству, по истории культуры. Иногда посещал библиотеку сам.

Когда в 1934 году я был переведен на работу в Издательство Академии наук СССР, я получил возможность получать книги из Библиотеки Академии наук. Утомление от корректорского чтения и от вычитки рукописей не мешало мне в моем чтении дома в кровати. Я был вполне доволен своей судьбой. Делал выписки, размышлял и ни с кем почти не общался. Единственным моим другом был мой однокашник по университету М. И. Стеблин-Каменский. В отличие от меня ему не удалось кончить универ-

*Пушкинский Дом*

Д. С. Лихачев. (1932 г.)



ситет, и он сдавал все предметы экстерном, работая в том же издательстве техническим редактором. Среди ученых корректоров издательства было много пожилых людей «из бывших». Два бывших барона, лицеист, правовед, странный старичок старообрядец, оказавшийся моим дальним родственником по матери, и два замечательных по своей общей культуре человека — А. В. Суслов, родственник жены Достоевского, и Л. А. Федоров. Общение с ними было великой школой. Как важно выбирать своих знакомых, и главным образом среди людей выше тебя по культурному уровню!

Четырехлетняя работа «ученым корректором» в Ленинградском отделении Издательства Академии наук не осталась без пользы. Работа эта создала у меня интерес к проблемам текстологии и, в частности, текстологии печатных изданий. Я участвовал вместе с техническим редактором Львом Александровичем Федоровым (умер от истощения во время блокады) и будущим известным скандинавистом М. И. Стеблин-Каменским в создании справочника-инструкции для корректоров Академии наук. Справочник этот вышел ограниченным тиражом в конце 30-х годов. Вообще моя работа в издательстве по многим пунктам соприкасалась с моим «типографским прошлым». Создание книг меня интересовало чрезвычайно. Я собирал уже случайно попадавшиеся книги по издательскому и типографскому делу, по художественному оформлению книг — особенно обложек (я их предпочитал жестким и грубым переплетам). Продолжалось и общение с типографскими работниками, в частности с замечательным коллекционером книг советского периода И. Г. Галактионовым (куда-то делась его библиотека? неужели после его смерти она была распродана по частям?).

Ю. Г. Оксман как-то напомнил мне, что он предлагал мне перейти в Пушкинский Дом, где он был заместителем директора, но я категорически отказался. И в самом деле, в издательстве мне было хорошо, и если бы не маленькие заработки, то и совсем хорошо. Здесь царила атмосфера общего труда, а во главе стоял М. В. Валерианов — бывший метранпаж Печатного Двора (метранпажи — это были наборщики высшей квалификации, одновременно выполнявшие обязанности технических редакторов и умевшие прекрасно делать титульные листы только средствами набора, — искусство, ныне утрачен-

ное). М. В. Валерианов заботился о деле, а потому и о людях. Он был умен и интеллигентен от природы. Вечная ему память.

В 1937 году я редактировал и корректировал «Обозрение русских летописных сводов» А. А. Шахматова, которое издавала В. П. Адрианова-Перетц. Я увлекся работой по летописанию, проверкой всех данных шахматовской рукописи и в конце концов попросил Варвару Павловну дать мне работу в Отделе древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Перевод быстро осуществился, и я с этого момента стал специалистом по древнерусской литературе.

В тридцатые годы я был погружен в свое корректорское дело (сперва в типографиях, а потом в Издательстве Академии наук СССР), и литературные события проходили мимо меня.

Прошлое — будущему. Л. 1985.

## ПОПЫТКИ ПИСАТЬ

В моем школьном образовании был один очень существенный недостаток: мы не писали классных работ и не делали домашних заданий (впрочем, домашние письменные работы все же иногда выполняли, но задавали их редко). Классные работы писать было нельзя. В годы моих последних классов зимой школа не отапливалась, мы сидели в пальто, в варежках сверх перчаток, и учителя время от времени заставляли нас согреваться. Мы вставали, по-кучерски взмахивали руками и били в ладоши. Наступало оживление. А домашние задания тоже было делать трудно, да и проверять их учителям было тяжело. Вечерами преподаватели не сидели дома — прирабатывали лекциями, за которые платилось иногда провизией (слова «продукты» в значении «провизия» тогда еще не было в употреблении).

В общем, когда я появился в университете, я с трудом мог в письменной форме изложить свои мысли. Хотя я и написал две дипломные работы — одну о Шекспире в России в конце XVIII века, а другую о повестях о Никоне, но изложены они были детским языком, беспомощны по композиции. Особенно не удавались мне переходы от

предложения к предложению. Было такое впечатление, что каждое предложение жило самостоятельно. Логическое повествование не складывалось. Фразу трудно было прочесть вслух: она была «непроизносима».

И вот сразу же по окончании университета я решил учиться писать, и систему придумал я сам. Учил ей и своего друга — Дмитрия Павловича Каллистова.

Во-первых, чтобы язык мой был богатым, я читал книги, с моей точки зрения, хорошо написанные, написанные хорошей прозой — научной, искусствоведческой. Я читал М. Алпатова, Дживилегова, Муратова, И. Грабаря, Н. Н. Врангеля (путеводитель по Русскому музею), Курбатова и делал из их книг выписки — главным образом фразеологические обороты, отдельные слова, выражения, образы и т. д.

Во-вторых, я решил писать каждый день, как классные сочинения, и писать особым образом. Этот особый образ я назвал «без отрыва пера от бумаги», то есть не останавливаясь. Я решил (и решил правильно), что главный источник богатой письменной речи — речь устная. Поэтому я старался записывать свою собственную, внутреннюю устную речь, старался догнать пером внутренний монолог, обращенный к конкретному читателю — адресату письма или просто читателю. И как-то быстро стало получаться. Я делал это еще и тогда, когда в 1931 году служил на железной дороге в Званке и Тихвине диспетчером (в перерыве между прибытием товарных составов), и вечерами, приходя со службы, когда работал корректором. Работая корректором, тоже вел записные книжки, куда записывал особенно точно выраженную мысль, точно и кратко.

Впоследствии, когда я поступил в Институт русской литературы (Пушкинский Дом), это было в 1938 году, и Варвара Павловна Адрианова-Перетц поручила мне для «Истории культуры Древней Руси» (т. 2; он вышел только в 1951 году) написать главу о литературе XI—XIII веков, она мною была написана как стихотворение в прозе. Далось мне это очень нелегко. На даче в Елизаветине я переписывал текст не менее десяти раз от руки. Правил и переписывал, правил и переписывал, а когда уже все казалось хорошо, я все же снова садился переписывать, и в процессе переписки рождались те или иные улучшения. Я читал текст вслух и про себя, отрывками и целиком,

проверял кусками и логичность изложения в целом. Когда в ИИМКе (ныне Институт археологии АН СССР) я читал свой текст, то чтение его имело большой успех, и с этого момента меня охотно стали приглашать участвовать в разных изданиях. К великому моему сожалению, текст моей главы был сильно испорчен в печатном издании правкой редакторов. И все же первую свою Государственную премию я получил за участие в «Истории культуры Древней Руси», в числе очень немногих.

Прошлое — будущему. Л. 1985.

## РАБОТЫ В ПУШКИНСКОМ ДОМЕ

В. П. Адрианова-Перетц была замечательным организатором работ Отдела. Формально заведовал им академик А. С. Орлов, но он, по крайней мере, не мешал Варваре Павловне, а организационный талант, административный ум и знания у Варвары Павловны были исключительными. Отличалась она и огромной работоспособностью, несмотря на плохое здоровье (болезнь Паркинсона).

Мы в Отделе приступали к написанию первых двух томов десятитомной истории русской литературы. Здесь мне пригодились мои старые мечты о создании настоящей истории русской литературы XI—XVI веков, интерес к летописанию и искусству Древней Руси. Я стал редактировать и писать. В первом томе параллельно готовившегося учебника для вузов «Истории русской литературы» я писал разделы по истории русского искусства (моя идея) и написал их от XI до XVIII века включительно. Получилась миниатюрная история русского искусства, связанная с историей русской литературы. Но привлечь меня к настоящей работе по десятитомной «Истории русской литературы» Варвара Павловна еще не решалась, тем более что один из сотрудников Отдела внезапно оказался моим большим недоброжелателем и это свое недоброжелательство «осуществлял» в течение ряда лет и впоследствии.

11 июня 1941 года я защитил кандидатскую диссертацию по новгородскому летописанию XII века. Для меня



*Новгород. Рисунок Д. С. Лихачева*

это была не только диссертация, но и выражение своей увлеченности Новгородом, где мы с женой в 1937 году провели свой отпуск, а спустя год я приезжал туда со своими друзьями — М. И. Стеблин-Каменским и Э. К. Розенбергом — русским немцем удивительно веселого нрава. Мы исходили Новгород и окрестности вдоль и поперек, побывали в каждом достопримечательном месте. Летописи Новгорода представлялись мне живыми, события становились почти зримыми. С тех пор я оценил научные темы, даже отвлеченно-филологические, в которых была бы хоть доля личного чувства. Своим ученикам я стараюсь постоянно рекомендовать темы, так или иначе связанные с ними биографически, темы, не только обещающие интересные результаты, но и близкие им по материалу.

Защиты диссертаций были в те времена не очень частым явлением. На моей диссертации оппонентами выступали академики А. С. Орлов и А. Н. Насонов. Пришли лингвисты (среди них академики Б. М. Ляпунов, Б. А. Ларин, Е. С. Истрина) и литературоведы (В. Л. Комарович), историки и историки искусства (Н. Н. Воронин). Народу было довольно много. А. Н. Насонов как оппонент произносил свой довольно длинный отзыв без единого листка бумаги — все по памяти.

Через две недели разразилась война. На призывном пункте меня с моими постоянными язвенными кровотечениями начисто забраковали, и я довольствовался участием в самообороне, жил на казарменном положении в институте, работая «связистом» и дежуря на башне Пушкинского Дома. В моем ведении была ручная сирена, которую я приводил в действие при каждом налете вражеской авиации. Спал я то на крыловском диванчике, то на большом диване из Спасского-Лутовинова и думал, думал. Жена старалась дома выкупить весь паек на всех, вставала ночью, чтобы занять очередь первой в магазин. Детей тогда было приказано вывозить из Ленинграда, взрослым же оставаться. Но мы своих детей скрывали на Вырице, откуда их вывез перед самым занятием ее немцами заведующий корректорской Издательства Академии наук М. П. Барманский. Если бы не он, остался бы я без семьи. Мы в Пушкинском Доме и не подозревали, что враг так близок к Ленинграду, хотя и ездили на окопные работы — сперва у Луги, потом у Пулкова.

Удивительно, что, несмотря на голод и на физические работы по спасению наших ценностей в Пушкинском Доме, несмотря на все нервное напряжение тех дней (а может быть, именно благодаря этому нервному напряжению), язвенные боли у меня совсем прекратились, и я находил время читать и работать.

Не касаюсь сейчас истории нашей жизни в блокированном Ленинграде: это тема целой книги. Писать о блокаде мельком невозможно. Скажу лишь следующее: потери в нашем институте, в нашей семье, среди наших знакомых и родных были ужасающие: больше половины моих родных и знакомых погибли от истощения. Мы очень плохо представляем себе, сколько людей унес голод и все остальные лишения.

Однако мозг в голод работал напряженно. Я даже

думаю, что эта усиленная работа голодающего мозга «запрограммирована» в человеке. Особенно остро мыслить в период лишений и опасности необходимо для сохранения жизни. Но думалось в этот период не о том, как бы избежнуть этих лишений, а об общих судьбах нашей страны, России.

Миллионы ленинградцев уже не знают — что такое была блокада. Представить себе это невозможно. А что говорить о приезжих, об иностранцах.

Чтобы чуточку представить себе, что такое была блокада, надо зайти в школу, когда кончаются уроки. Посмотрите на этих шумных детей и представьте себе именно их, но в десятках тысяч, молча лежащих в своих постельках в промерзлых квартирах, без движения, даже не просияющих пищи, а только выжидательно на вас смотрящих.

А еще представьте себе или вспомните (это было совсем недавно) те отсутствующие классы в ленинградских школах, которые приходились на годы рождения их учащихся — особенно 1941—1942-й.

Об окончании войны я узнал утром на улице — по лицам и поведению прохожих: одни смеялись и обнимали друг друга, другие одиноко плакали. Какое другое событие могло вызвать столько радости и такую волну горя? Плакали о тех, кто погиб, умер от истощения в Ленинграде, не дождался встречи с родными, кто оказался изуродованным и нетрудоспособным. Я и сам, прежде чем взять в руки газету, думал о многих самых мне близких людях, умерших от голода в Ленинграде и убитых на фронте. Была и тревога за тех, о ком долго не было известий: живы ли они, сохранились ли? Хотелось встречаться, говорить; множество чувств, и самых разнообразных, овладевало мной и другими. Не помню только одного: чувства мстительного торжества.

Понять значение Победы можно было только масштабно. Все же исторические последствия Победы будут изучать еще не одно десятилетие. Грандиозность же масштабов произошедших событий была ясна сразу, и в те дни, может быть, даже яснее, чем в последующее время. Только люди, пережившие всю горечь поражений первого года, весь ужас блокады Ленинграда, ясно осознавали — от чего они освободились и что, думалось тогда, никогда не сможет повториться. Если бы люди во всем



*Д. С. Лихачев и З. А. Лихачева*

мире обладали и сохраняли живое чувство ужаса от пережитого во время войны, современная политика строилась бы иначе.

Прошлое — будущему. Л. 1985.

## КАК МЫ ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ

«...Существует только то, чего уже нет. Будущего может не быть; настоящее может и должно перемениться; одно прошедшее не подвержено изменяемости: воспоминание бережет его...» (Жуковский).

Я верю, что ничто не исчезает, все остается, хотя и вне поля нашего сознания. Времени в наших формах его восприятия нет.

Эта тетрадь — для наших детей — моих.

В среду 26 июня 1957 года мы с мамой решили поехать из Зеленогорска в город не обычным путем (поездом или автобусом), а теплоходом с Золотого пляжа. Теплоходы из Зеленогорска в Ленинград только что начали ходить, и хотелось посмотреть на Финский залив с самого залива. Я живу на берегу Финского залива с

детства, но в море бывал только на лодке (и то очень редко) или на пароходе — из Ленинграда в Петергоф (раза два-три). Вот мы и отправились на Золотой пляж к пристани и прошли как раз мимо тех дач, в одной из которых ранней весной (или, вернее, поздней зимой, так как лежал еще снег) 1941 года на втором этаже мы собирались снять на лето комнату. Собирались, но не сняли... Сняла П. Ширяева. Мы с мамой и спросили друг друга: «А что, если бы мы эту дачу сняли, — остались бы мы живы?» Так возникла у нас мысль записать для наших детей по возможности все то, что сохранила нам память о событиях 1941—1942 годов.

Будем записывать, не претендуя ни на систематичность, ни на особую литературность. Если я что-нибудь забуду, поправит мама. У нашей мамы память лучше и точнее моей, особенно на числа.

*Суббота, 29 июня 1957 года*

\* \* \*

Итак, в 1941 году мы не сняли дачи в Териоках. Мы сняли дачу в Вырице. Идти к нашей даче надо было по прямой и широкой улице прямо от вокзала. Эту улицу пересекали под прямым углом другие улицы с названиями в память русских писателей. Одним из этих писателей был И. А. Крылов, приютивший нас на своей улице с молодыми соснами, в новом доме, не очень далеко от речки Оредеж. Говорят, дача сохранилась.

Дача была дешевая. В этом-то все и дело, так как я служил младшим научным сотрудником в Пушкинском Доме и получал мало. Правда, мы брали еще в издательстве рукописи на монтировку и даже внесли в это дело кое-какие усовершенствования (вместо того чтобы заклеивать маленькими кусочками бумажки вычеркнутые буквы и отрывки, мы стали их замазывать гуашью, что убыстроило работу), но заработка все же оставался очень маленьким. Помню, что в нашей дешевой даче была комната и балкон. В том же доме, только что выстроенным, жили и еще какие-то дачники. 11 июня я защитил диссертацию, но в старшие научные сотрудники меня перевели только в августе — тогда резко увеличилась моя

зарплаты. Няней у нас была Тамара Михайлова. Я ездил на дачу часто и иногда даже оставался там на день-два, боясь туда часть работы.

Лето было хорошее. Мы ходили на реку и там, выбирая место с небольшим «пляжем», на котором могла поместиться только наша семья, загорали и купались. Берег был крутой, и над нашим крохотным «пляжем» проходила тропинка. Вот однажды мы услышали на нашем пляже отрывки страшного разговора. По тропинке торопливо шли какие-то дачники и говорили о бомбардировке Кронштадта, о каких-то самолетах. Мы сперва подумали: не вспоминают ли они финскую кампанию 1939 года, но их взволнованные голоса встревожили и нас. Когда мы вернулись на свою дачу, нам рассказали: началась война. К вечеру в саду дома отдыха мы слушали радио. Громкоговоритель висел где-то высоко на столбе, и на площадке перед ним стояло много народа. Люди были очень мрачны и молчаливы. Наутро я уехал в город. Дома мама и Юра услышали о войне по радио. Юра, рассказывала мама, побелел. В городе меня поразила тоже мрачность и молчание. После молниеносных успехов Гитлера в Европе никто не ожидал ничего хорошего. Всех удивляло то, что буквально за несколько дней до войны в Финляндию было отправлено очень много хлеба, о чем сообщалось в газетах. Более разговорчивы были люди в Пушкинском Доме, но с оглядкой. Говорил больше А. И. Грушкин: строил всякие фантастические предположения, но все «патриотические».

Что было в течение первых дней войны, я не помню. Потом пошли «установки»: научные учреждения АН должны быть законсервированы, начались сокращения, продолжавшиеся до весны 1942 года, сотрудников записывали в добровольцы, ходили слухи об эвакуации. Слухи о том, куда будут эвакуировать Пушкинский Дом, менялись несколько раз в неделю.

Газеты неясно сообщали о положении на фронтах, и люди жили слухами. Слухи передавались повсюду: в буфете, на улицах, но им плохо верили — слишком они были мрачны. Потом слухи оправдывались.

Пугали слухи об эвакуации детей. Были действительно отданы приказы об эвакуации детей. Набирали женщин, которые должны были сопровождать детей. Так как

выезд из города по личной инициативе был запрещен, то к детским эшелонам пристраивались все, кто хотел бежать. Пристраивались по преимуществу евреи. Им было особенно страшно. Что такое фашизм для евреев — это к тому времени было уже хорошо известно. Евреи выезжали всяческими путями, кто как мог. Мы решили детей не отправлять и не разлучаться с ними. Было ясно, что отправка детей совершается в полнейшем беспорядке. И, действительно, позднее мы узнали, что множество детей было отправлено под Новгород — навстречу немцам. Рассказывали, как в Любани сопровождавшие «дамы», похватав своих собственных детей, бежали, покинув детей чужих. Дети бродили голодные, плакали. Маленькие дети не могли назвать своих фамилий, когда их кое-как собрали, и навеки потеряли родителей. Впоследствии, в 1945 году, многие несчастные родители открыто требовали судить эвакуаторов — в их числе и «отцов города».

«Эвакуация» была насильственная, и мы скрывались в Вырице, решив жить там до последней возможности. Рядом с нами на Вырице жил и М. П. Барманский с семьями своих сыновей. Мы советовались с ним и вместе скрывали своих детей от эвакуации: мы дочерей, а он внуков.

Но немцы наступали быстро. Над городом поднялись десятки аэростатов воздушного заграждения. На башне Пушкинского Дома мы несли круглосуточное дежурство, и ездить на дачу становилось труднее. Последний раз я уезжал с Вырицы в поезде из одних мягких вагонов (состав откуда-то был «пригнан»). Стекла в поезде были выбиты: немецкие самолеты бомбардировали его около самой Вырицы. В Вырице слышны были оглушительные бомбардировки Сиверского аэродрома. Раза два совсем низко пролетели над дачей немецкие «мессершмитты». Они внезапно появлялись над самыми деревьями, страшно ревели моторами и так же внезапно исчезали.

Однажды после ночного дежурства в Пушкинском Доме я вернулся домой на Лахтинскую улицу и застал дома Зину и детей. Оказывается, их перевез с дачи М. П. Барманский. Он решил, что жить на Вырице «хватит», перевез сначала своих, а потом специально поехал за моими и перевез их со всеми вещами: на даче остались только ходики, корыто, детские кроватки, шезлонг и еще что-то. А В. Л. Комарович с семьей остались

на Сиверской и переехали оттуда недели через полторы. Немцы уже были совсем близко от Сиверской. Эти полторы недели стали роковыми для Комаровичей: они не успели ничем запастись...

Ко времени нашего возвращения с Вырицы в Ленинграде существовала уже карточная система. Магазины постепенно пустели. Продуктов, продававшихся по карточкам, становилось все меньше: исчезали консервы, дорогая еда. Но хлеба первое время по карточкам выдавали много. Мы его не съедали весь, так как дети ели хлеба совсем мало. Зина хотела даже не выкупать весь хлеб, но я настаивал: становилось ясно, что будет голод. Неразбериха все усиливалась. Поэтому мы сушили хлеб на подоконниках на солнце. К осени у нас оказалась большая наволочка черных сухарей. Мы ее подвесили на стенку от мышей. Впоследствии, зимой, мыши вымерли с голоду. В мороз, утром в тишине, когда мы уже по большей части лежали в своих постелях, мы слышали, как умиравшая мышь конвульсивно скакала где-то у окна и потом подыхала: ни одной крошки не могла она найти в нашей комнате. Пока же, в июле и августе, я твердил: будет голод, будет голод! И мы делали все, чтобы собрать небольшие запасы на зиму. Зина стояла в очередях у темных магазинов, перед окнами которых вырастали заслоны из досок, сколоченных высокими ящиками, в которые насыпалась земля.

Что мы успели купить в эти первые недели? Помню, что у нас был кофе, было очень немного печенья. Как я вспоминал потом эти недели, когда мы делали свои запасы! Зимой, лежа в постели и мучимый страшным внутренним раздражением, я до головной боли думал все одно и то же: ведь вот, на полках магазинов еще были рыбные консервы — почему я не купил их! Почему я купил в апреле только 11 бутылок рыбьего жира и постыдился зайти в аптеку в пятый раз, чтобы взять еще три! Почему я не купил еще несколько плиток глюкозы с витамином С! Эти «почему» были страшно мучительны. Я думал о каждой недоеденной тарелке супа, о каждой выброшенной корке хлеба или о картофельной шелухе с таким раскаянием, с таким отчаянием, точно я был убийцей своих детей. Но все-таки мы сделали максимум того, что могли сделать, не веря ни в какие успокаивающие заявления по радио.

Передаю перо Зине.

К тому, что написал папа, я дополню. В тот год мы поздно выехали на дачу, так как папа 11 июня 1941 года защищал кандидатскую диссертацию. На дачу мы поехали 19 июня. Наняли грузотакси и на нем перевезли все вещи. У нас была хорошая комната и веранда: все маленьких размеров, но квадратные. Тамара спала наверху, около чердака. Погода была прекрасная, и дети быстро стали поправляться. Мы благополучно прожили всего девять дней: ходили купаться на речку, гуляли в лесу и лежали на траве в нашем дворе около веранды. Когда мы купались, то девочки ложились мне на спину и я плавала. После объявления войны я осталась без Тамары, так как она поступила на завод, но оставалась в нашей квартире на Лахтинской улице (дом 9, квартира 12).

Мы жили на Вырице до 18 июля. К нам приехала на несколько дней бабушка. Нас перевез М. П. Барманский. Это было в воскресенье, под вечер. Он помог мне собрать вещи, и мы приехали с детьми в город. Вот не помню, как мы все перевезли. Помню, что как-то раньше я привезла в город два тяжелых чемодана, возможно, помогала Тамара. На даче остались детские кровати, посуда, шезлонг. Всю блокаду девочки спали уже на кроватях взрослых. Одну кровать дала Нина Урвачева. В городе было трудно достать молоко. Я вставала очень рано и стояла в толпе перед воротами рынка. Наконец ворота открывались, и все бросались к молочным ларькам. Сначала я доставала два литра, а потом все меньше и меньше. Часть этого молока я отдавала бабушке, которая оставалась с детьми. Мне приходилось стоять в очередях и с детьми, так как до введения карточек на них давали продукты: лишний килограмм крупы. Карточки ввели, и мы стали сушить хлеб и булки в чудо-печке, на керосинке. Только потому, что Митя советовал выкупать весь хлеб и булки, сушить их, так как впереди нас ждет голод, мы имели запас сухарей. Этот запас нас спас тогда, когда стали давать норму хлеба на человека в 250 и 125 граммов. Когда ввели карточки, то норма была 600 граммов для служащих и 400 граммов для иждивенцев и детей. Я помню, у нас был запас картошки и сливочного масла. Мы хранили картошку в кухне, а масло за дверью. Я стала замечать, что эти запасы понемногу уменьшаются, хотя мы их не трогали. Мы решили, что в этом виноваты

наши соседи Кесаревы, и стали все продукты хранить у себя в комнате. У нас был запас в несколько бутылок рыбьего жира. Это было важно для детей.

Продолжаю писать. 11 стограммовых бутылочек рыбьего жира я купил в аптеке на углу Большого проспекта и Введенской улицы — тогда она помещалась в старом двухэтажном здании.

Жизнь постепенно приобретала фантастические формы.

Эвакуация постепенно сошла на нет. Нам не приходилось скрывать своих детей. Начались бомбардировки. Только о них и были разговоры. Каждый день они начинались в один и тот же час, но так как враг был настолько близок, что предупредить о приближении самолетов было нельзя, то сигналы воздушной тревоги слышались только тогда, когда бомбы уже падали на город.

Я помню один из первыхочных налетов. Бомбы со свистом пролетали над нашим пятым этажом. Мы лежали в постелях. Вслед за воем бомб наш дом содрогнулся, что-то заскрипело на чердаке, и мы услышали разрыв. На следующий день оказалось, что бомбы упали на перекрестке Гейслеровской и Рыбацкой — не так уж близко от нас. Был убит постовой милиционер. Бомба снесла целый угол здания, где когда-то помещался ресторанчик, в котором бывал Блок. Бомба засыпала подвальное бомбоубежище, порвала водопровод, и людей, спасавшихся в нем, затопило. После этого мы окончательно решили не спускаться в наши подвалы. Во-первых, это было бесполезно, во-вторых, хождение на пятый этаж и с пятого этажа отнимало много сил. Первый перестал ходить дедушка (мой папа). Он продолжал лежать в постели. Упорно ходили в бомбоубежище Кесаревы, каждый раз таская с собой какие-то чемоданы (Кесаревы — это наши соседи по квартире — муж и жена). Но все же мы присмотрели комнату на первом этаже с окнами во двор и ходили туда некоторое время ночевать. Хозяйка ее — одинокая женщина — служила в Кронштадте и любезно дала нам ключ от своей комнаты. Так нам казалось безопаснее. Как только могли, мы старались вести обычный образ жизни. Даже гуляли в Ботаническом саду. Сохранились снимки — мы с детьми в Ботаническом саду. Снимал мой брат Юра. Через несколько минут после того, как мы сфотографировались, началась воз-

душная тревога. Но в саду мы чувствовали себя вполне спокойно даже во время бомбёжки. Я снят в сером пальто. Из-за этого серого пальто меня чуть было не приняли за шпиона, так как светлые тона одежды не были у нас в стране еще приняты и служили признаком иностранца. Это было на Витебском вокзале, когда я собирался ехать на дачу в Вырицу. Следили за мной мальчишки и пошли кому-то сказать обо мне. К счастью, поезд быстро отошел, а то бы мне пришлось изрядно опоздать к своим. Кстати, о шпионах. Шпиономания в городе достигла невероятных размеров. Шпионов искали всюду. Стоило человеку пойти с чемоданчиком в баню, как его задерживали и начинали «проверять». Так было, например, с М. А. Панченко (нашим ученым секретарем). Ходило много рассказов о шпионах. Рассказывали о сигналах, которые передавались с крыши немецким самолетам. Были какие-то якобы автоматические маяки, которые начинали сигнализировать как раз в часы налетов. Такие маяки, по слухам, находились в трубах домов (их было видно только сверху), на Марсовом поле и т. д. Какая-то доля истины в этих слухах, может быть, и была: немцы действительно знали все, что происходит в городе.

Однажды в августе мы шли из нашей поликлиники на Каменноостровском. Был вечер, и над городом поднялось замечательной красоты облако. Оно было белое-белое, поднималось густыми, какими-то особенно «крепкими» клубами, как хорошо взбитые сливки. Оно росло, постепенно розовело в лучах заката и наконец приобрело гигантские, зловещие размеры. Впоследствии мы узнали: в один из первых же налетов немцы разбомбили Бадаевские продовольственные склады. Облако это было дымом горевшего масла. Немцы усиленно бомбили все продовольственные склады. Уже тогда они готовились к блокаде. А между тем из Ленинграда ускоренно вывозилось продовольствие и не делалось никаких попыток его рассредоточить, как это сделали англичане в Лондоне. Немцы готовились к блокаде города, а мы — к его сдаче немцам. Эвакуация продовольствия из Ленинграда прекратилась только тогда, когда немцы перерезали все железные дороги; это было в конце августа.

Ленинград готовили к сдаче и по-другому: жгли архивы. По улицам летал пепел. Бумажный пепел как-то особенно легок. Однажды, когда в ясный осенний день я

шел из Пушкинского Дома, на Большом проспекте меня застал целый дождь бумажного пепла. На этот раз горели книги: немцы разбомбили книжный склад Печатного Двора. Пепел заслонял солнце, стало пасмурно. И этот пепел, как и белый дым, поднявшийся зловещим облаком над городом, казались знамениями грядущих бедствий. Город между тем наполнялся людьми: в него бежали жители пригородов, бежали крестьяне. Ленинград был окружен кольцом из крестьянских телег. Их не пускали в Ленинград. Крестьяне стояли табором со скотом, плачущими детьми, начинавшими мерзнуть в холодные ночи. Первое время к ним ездили из Ленинграда за молоком и мясом: скот резали. К концу 1941 года все эти крестьянские обозы вымерзли. Вымерзли и те беженцы, которых рассовали по школам и другим общественным зданиям. Помню одно такое переполненное людьми здание на Лиговке. Наверное, сейчас никто из работающих в нем не знает, сколько людей погибло здесь. Вымирали и те, которые подвергались «внутренней эвакуации» из южных районов города: они тоже были без вещей, без запасов. Глядя на них, становились ясными все ужасы эвакуации. Вот как это было.

В нашем доме в оставленных квартирах расселили семьи пущинских рабочих. Однажды, возвращаясь из Пушкинского Дома, я заметил на Лахтинской улице несколько автобусов. Из них выходили женщины, редко мужчины. Было очень много детей. Оказалось, что немцы внезапно подошли к Пущинскому заводу. Обстреливали район из минометов. Жителей срочно перевезли. Впоследствии эти семьи, эвакуированные из южных районов Ленинграда, все вымерли. Они рано начали голодать. Об одной такой вымершей семье, жившей рядом с нами на площадке в квартире Колесовских, я расскажу после. Когда «фронт» стабилизировался у Пущинского, в ту сторону стали ездить ленинградцы — собирать овощи с огородов под пулями немцев. Ездили и Комаровичи за капустными кочерышками. Это дало им возможность немного запастись продовольствием.

В. Л. Комарович был единственным из знакомых, кто заходил к нам в Ленинграде. Тогда приходили только родные. Заходил дядя Вася, рано начавший голодать. Мы давали и Комаровичу и дяде Васе черные сухари. Дядя Вася принес девочкам куклы, купленные им по дорогой

цене. Куклы купить было можно, но еды — ни за какие деньги. Дядя Вася рассказывал нам, что он так голодал, что пошел к своему племяннику Шуре Кудрявцеву и стал перед ним на колени, прося у него хоть немножко еды. Шура не дал, хотя у него были запасы. Впоследствии погибли и дядя Вася и Шура Кудрявцев — последний не от голода, но смертью не менее страшной. Я об этом еще расскажу.

Комарович все строил прогнозы. Он любил думать о грядущих судьбах мира. Рассуждал он очень интересно, но не во всем был прав. Помню его еще до войны на Кронверкском проспекте (теперь проспекте Горького): он читал вывешенную газету с сообщениями о потоплении какого-то английского линкора. Все были тогда уверены, что Германия победит, но В. Л. перед газетой сказал: «Британский лев старый и опытный. Его не так-то легко взять. Думаю, что в конце концов победит Англия». Мне эти слова запомнились, потому что я и сам начал с тех пор думать так же. Заходил к нам и панически настроенный некий Х. он все время рассуждал о том, как достать еды. Их дом разбомбило. Во время бомбежки его семья спустилась в бомбоубежище, а он сам встал под лестницей. Бомба попала как раз в лестничную клетку. Ступеньки стали на него валиться, но он чудом спасся: ступеньки, падая, образовали над ним свод. Ему только сильно придавило грудную клетку. Его откопали. Откопали и семью в бомбоубежище. Те были целы, а Х. отвезли в больницу и через несколько дней выпустили. Но благодаря этому случаю все они остались живы, и вот как. Х. «догадался»: он заявил властям, что у него при бомбажке погибли паспорта. В новом доме, где их прописали, им выдали новые паспорта. Он стал получать карточки и по старым паспортам, и по новым. Таких случаев было в городе очень много. Люди получали карточки на эвакуированных, на мобилизованных, на убитых и умерших от голода. Последних становилось все больше.

Помню — я был зачем-то в платной поликлинике на Большом проспекте Петроградской стороны. В регистратуре лежали на полу несколько человек, подобранных на улице. Им ставили на руки и на ноги грелки. А между тем их попросту надо было накормить, но накормить было нечем. Я спросил: что же с ними будет дальше? Мне ответили: «Они умрут». — «Но разве нельзя отвезти их в

больницу?» — «Не на чем, да и кормить их там все равно нечем. Кормить же их нужно много, так как у них сильная степень истощения». Санитарки стаскивали трупы умерших в подвал. Помню — один был еще совсем молодой. Лицо у него было черное: лица голодающих сильно темнели. Санитарка мне объяснила, что стаскивать трупы вниз надо пока они еще теплые. Когда труп похолодеет, выползают вши. Город был заражен вшами: голодающим было не до «гигиены».

То, что я увидел в поликлинике на Большом проспекте, — это были первые пароксизмы голода. Голодали те, кто не мог получить карточек: бежавшие из пригородов и других городов. Они-то и умирали первыми, они жили вповалку на полу вокзалов и школ. Итак, одни с двумя карточками, другие без карточек. Этих беженцев без карточек было неисчислимое количество, но и людей с несколькими карточками было немало.

Особенно много карточек оказалось у дворников. Дворники забирали карточки у умирающих, получали их за эвакуированных, подбирали венцы в опустевших квартирах и меняли их, пока еще можно было, на еду. Мама меняла свои платья на дуранду. Дуранда (жмыхи) выручала Ленинград во второй раз. Первый раз ее ели петроградцы в 1918—1920 годах, когда Петроград голодал. Но разве можно было сравнить тот голод с тем, который готовился наступить!

Трамваи еще ходили в городе. Однажды в августе или начале сентября я видел, как перевозили войска в трамваях — с юга Ленинграда на север: финны прорвали фронт и полным ходом наступали к Ленинграду, никем не задерживаемые. Но они остановились на своей старой границе и дальше не пошли. Впоследствии с финской стороны не было сделано по Ленинграду ни одного выстрела. С той стороны не летало и самолетов. Но Поле Ширяевой со своими детьми пришлось бежать из Териок в первый же день войны. Детей ей пришлось отправить одних, и они выехали с академическим эшелоном в Тетюши — под Казань. Так же пришлось бы нам расстаться с детьми, если бы мы сняли дачу в Териоках.

Теперь расскажу о том, что происходило в Пушкинском Доме. Там в августе и сентябре работали буфет и академическая столовая. Эти два места были центрами притяжения, центрами встреч, разговоров. Отсюда рас-

пространялись новости, здесь люди встречали друг друга и... переставали встречать.

Уже в июле началась запись в добровольцы. Записались все мужчины. Их поочередно приглашали в директорский кабинет, и здесь Л. А. Плоткин с секретарем парторганизации А. И. Перепеч «насадали». Помню, М. А. Панченко вышел бледный с дрожащими губами из кабинета: он отказался. Он сказал, что в добровольцы не пойдет, что будет призван и хочет сражаться в регулярной армии. Он сидел потом в канцелярии и сказал: «Я чувствую, что буду убит». Я это слышал. Его объявили трусом, клеймили позором. Но через несколько недель его призвали, как он и говорил. Он сражался партизаном и был убит где-то в лесах Калининской области. А Л. А. Плоткин, записывавший всех, добился своего освобождения по состоянию здоровья и зимой бежал из Ленинграда на самолете, зачислив за несколько часов до своего выезда в штат института свою «хорошую знакомую» — преподавательницу английского языка и устроив ее также в свой самолет по брони института.

Нас, «белобилетчиков», зачислили в институтские отряды самообороны, раздали нам охотничьи двустволки и заставили обучаться строю перед Историческим факультетом. Помню среди маршировавших Б. П. Городецкого и В. В. Гиппиуса. Последний как-то смешно ходил на посках, подаваясь всем корпусом вперед. И обучавший нас, и все мы потихоньку смеялись, глядя на старательную фигуру В. В. Гиппиуса, шагавшего на цыпочках. А Гиппиус, над которым мы смеялись, был уже обречен...

Во дворе Физиологического института отчаянно лаяли голодные собаки (виноследствии их съели, и они спасли жизнь многим физиологам). В Библиотечном институте срочно строили нары для всех нас, чтобы перевести на казарменное положение. Нам с В. В. Гиппиусом показали даже наши места на нарах. Мы пошли, посмотрели и... ушли. Была полнейшая неразбериха, и было ясно, что оставаться ночевать на нарах бессмысленно. Вскоре и обучение прекратилось: люди уставали, не приходили на занятия и начинали умирать «необученными». Часть сотрудников ездили под Ленинград строить оборонительные рубежи. Здесь были более осмысленные занятия. Обнаруживались таланты: В. Ф. Покровская лечила тра-

вами и спасла от смерти С. Д. Балухатого. М. О. Скрипиль был коком на всю артель. От проходящих со своим скотом крестьян добыли телку. Кто-то смог ее зарезать. Но за город ездили и для других целей. Т. П. Ден ездила с группой женщин срезать кочерыжки на полях, где перед тем росла капуста. Перекапывали по второму разу картофельные поля и добывали разную съедобную мелочь в лесах.

Самое страшное было постепенное увольнение сотрудников. По приказу президиума, по подсказке нашего директора П. И. Лебедева-Полянского, жившего в Москве и совсем не представлявшего, что делается в Ленинграде, происходило «сокращение штатов». Каждую неделю вывешивались приказы об увольнении. В нашем секторе уволили В. Ф. Покровскую, затем М. О. Скрипилья. Уволили всех канцеляристок, и меня перевели в канцелярию. Увольнение было страшно, оно было равносильно смертному приговору: увольняемый лишался карточек, поступить на работу было нельзя. В. Ф. Покровская спаслась тем, что пошла в медицинские сестры. Скрипиль уехал из города в середине зимы.

Впоследствии в Казани мы слышали об этих увольнениях и записях в добровольцы следующий рассказ. Одного из вице-президентов Академии наук вызвал к себе В. М. Молотов и спросил: «Сколько научных сотрудников вы записали в добровольцы?» Тот назвал. «А сколько докторов наук?» Вице-президент назвал. «А сколько членов-корреспондентов?» Вице-президент и тут назвал какую-то цифру. «Академиков?» Тот смущился и сказал, что запись еще не успели произвести. «А вы сами намерены записаться?» Вице-президент побледнел и ответил утвердительно. Тут уж Молотов рассердился, обвинил его во вредительстве и снял его с поста. Перестарался, но результаты были налицо: многие научные сотрудники бессмысленно погибли в Кировской добровольной дивизии, необученной и безоружной. Еще больше погибло от бессмысленных увольнений. На уволенных карточек не давали. Вымерли все этнографы. Сильно пострадали библиотекари, умерло много математиков — молодых и талантливых. Однако зоологи сохранились: многие умели охотиться.

Но «на предлежащее возвратимся». В буфете собирались «пожарники», «связисты», вооруженные охотничьи-

ми двустволками, пили кипяток, получали порцию супа с зелеными капустными листьями (не кочанными, а верхними — жесткими) и без конца разговаривали. Особенно много говорил Г. А. Гуковский. Тут выяснилось, что он по матери русский (из Новосадских), что он православный, что он из Одессы, бывал в Венеции. Гуковский был в панике. В панике был и Александр Израилевич Грушкин. В день, когда немцы подошли вплотную к Ленинграду, он явился в буфет в фуражке, надетой набекрень, в рубахе, подпоясанной кавказским ремешком, и, здороваясь, отдавал честь. По секрету он сообщил, что, когда придут немцы, будет выдавать себя за армянина.

Директор Пушкинского Дома не спускался вниз. Его семья эвакуировалась, он переехал жить в институт и то и дело требовал к себе в кабинет то тарелку супа, то порцию каши. В конце концов он захворал желудком, расспрашивал у меня о признаках язвы и попросил вызвать доктора. Доктор пришел из университетской поликлиники, вошел в комнату, где он лежал с раздутым животом, потянул носом отвратительный воздух в комнате и поморщился. Уходя, доктор возмущался и бранился: голодающий врач был вызван к пережравшему директору!

Университетскую поликлинику я помню хорошо: я получал там справки на белый хлеб. Это нас поддерживало. В сентябре у меня начались язвенные боли, но они быстро прошли. Окна в поликлинике были уже заложены, и врачи принимали в ней при электрическом свете. Потом приемы прекратились, электричество перестало гореть. Заложены были окна и в академической столовой около Музея антропологии и этнографии АН. В этой столовой кормили по специальным карточкам. Многие сотрудники карточек не получали и приходили... лизать тарелки. Лизал тарелки и милый старик, переводчик с французского и на французский Яков Максимович Каплан. Он официально нигде не работал, брал переводы в издательстве, и карточки ему не давали. Первое время добился карточки в академическую столовую В. Л. Комарович, но потом ему отказали (в октябре). Он уже опух от голода к тому времени. Помню, как он, получив отказ, подошел ко мне (я ел за столиком, где горела коптилка) и почти закричал на меня со страшным раздражением: «Дмитрий Сергеевич, дайте мне хлеба — я не дойду до

дому!» Я дал свою порцию. Потом я к нему пришел на квартиру (на Кировском) и принес плитку глюкозы с порошком шиповника (удалось купить перед тем в аптеке). Дома он вел раздражительный разговор с женой. Жена (Евгения Константиновна) пришла из Литфонда, где им также отказали в столовой, как не членам Союза писателей. Жена упрекала Василия Леонидовича, что он не смог раньше вступить в члены Союза писателей. Василий Леонидович одевал пальто, чтобы идти в столовую самому, но ослабевшие пальцы не слушались, и он не мог застегнуть пуговицы. Первыми отмирали те мускулы, которые не работали или работали меньше. Поэтому ноги переставали служить последними. Если же человек начинал лежать, то уже не мог встать. Я приходил к В. Л. Комаровичу и раньше, помогал ему пилить дрова. Надо ведь было думать и о топливе. Дрова же не были подвезены к городу.

Хотя бомбежки и прекратились, люди к ним готовились. Готовили фанеру для окон, заклеивали окна бумагой крест-накрест. Несколько листов фанеры, вырезанной по размерам наших стекол, принес и я домой. Они нам пригодились в 1945 году. Стекла же я заклеил не бумагой, а бинтами: говорили, так лучше. Фотографический клей был такой прочный, что потом, в 1945 году, мы с трудом смогли его отмыть.

Мне часто приходилось ночевать в институте. Мы дежурили, спали одетыми на «мемориальных» диванах (помню, что я чаще всего спал на удобных больших зеленых плюшевых диванах И. С. Тургенева из Спасского-Лутовинова). Вместе с нами дежурили и «словарники» (картонка древнерусского словаря помещалась над нами в Пушкинском Доме и была перенесена для сохранности к нам вниз). Помню Гейерманса, Лаврова, Филиппова и др. Однажды утром, войдя в комнату, где спал обычно Филиппов, я увидел, что он молится. Он страшно смущился и сделал вид, что упражняется в гимнастике.

Дежурить в институте было особенно неприятно в те минуты, когда немцы бомбили Петроградскую сторону. Телефоны были выключены чуть ли не в июле 1941 года, и справиться — живы ли мои — было нельзя. Надо было ждать конца дежурства. Каждая же падавшая бомба, казалось, падала именно на наш дом. Только завернув на Лахтинскую улицу и увидев, что наш дом цел, я успокаи-



*Ленинград. На дежурстве (фото А. Гаранина)*

вался, но надо было дойти до дому, подняться на пятый этаж и только тогда узнать, как прошли сутки, казавшиеся бесконечно длинными.

А ходить становилось все труднее. Я состоял «связистом» и иногда надо было идти на квартиру к служащим, чтобы вызвать их для какой-нибудь экстренной оборонной работы. У меня был ночной пропуск, который достал мне брат Юра, переехавший от нас с женой в комнату, которую он добыл на Кировском проспекте в квартире начальника «Скорой помощи» Месселя. Я видел город и днём и ночью, и рано утром, и вечером, во время воздушной тревоги, в темноте, почти без людей, стремившихся беречь силы и не выходить из своих квартир.

Отец еще продолжал ходить на службу. Он работал в типографии «Коминтерн» на Красной улице, дом 1. Он тушил пожары в соседнем архиве, дежурил, плохо ел. Дома все колол дрова на плите для наших «буржуек» (пригодился опыт первого петроградского голода 1918—1920 годов).

Однажды я встретил отца около Адмиралтейства. Мы с ним вместе пошли домой (трамваев не было). Когда переходили Дворцовый мост, начался обстрел. Снаряды рвались совсем близко с оглушительным треском. Отец шел, не оглядываясь и не ускоряя шага. Мы только крепче взяли друг друга под руку. Следы разрывов «тех» снарядов еще и сейчас есть на гранитной набережной

около Дворцового моста. Я всегда знал, что отец не трус, но тут я убедился, каким выдержаным мог быть он — самый невыдержаный и самый раздражительный человек из всех, кого я только знал.

Передаю перо Зине.

Все домашние хозяйки дежурили на улице, сидя у парадной двери. Вечером нужно было следить, хорошо ли затемнены окна. Все в доме перезнакомились во время дежурств и всё разговаривали о том, где достать продуктов. На дежурстве я познакомилась с женщиной, которая предложила мне спать с детьми в комнате первого этажа окнами во двор. Это было в конце сентября. Я помню этот страшный взрыв на Гейслеровской, о котором пишет папа. Я спала на складной кровати посредине комнаты. Когда пронеслась эта бомба, было такое чувство, что лежишь в воздухе и вокруг пустота. Мы не спускались в бомбоубежище, и за всю войну я там ни разу не была. Недели три ходили на первый этаж, а потом перестали и это делать. Помню, как я старалась «отоварить» карточки. Карточки выдавали, но продуктов было мало, вот и приходилось стоять часами, днями под бомбёжкой, чтобы получить продукты. Я получала их для всей своей семьи и для бабушки с дедушкой. В конце октября я, получив все продукты, счастливая вернулась домой. Вместо масла получила голландский сыр. Сергей Михайлович поцеловал мне руку, поблагодарил и сказал, что если бы не я, то он не получил бы продуктов. Так я отоваривала все карточки, кроме декабрьских. По ним мы не получили масла. Я вставала в два часа ночи, когда все спали. Ходила в папиных валенках и в большом платке (белом, он и сейчас цел, я его купил в Пятигорске.—Д.Л.), в рукавицах, которые кроил папа. Сверху сукно, а внизу детское шерстяное платье. Михаил Иванович и Ольга Сергеевна обещали нам достать дуранду по большой цене, а у нас не было денег. Деньги я взяла у своего папы, но дуранду нам так и не достали. Мы меняли вещи. О том, что нужно непременно менять и ничего не жалеть, нам сказал Василий Леонидович Комарович. Он пришел к нам, мы его угостили чаем с хлебом. Он сказал: «Теперь хлеб как пряник». Мы с папой были в тяжелом настроении. Василий Леонидович старался нас подбодрить и говорил: «Не унывайте, Дмитрий Сергеевич, мы еще с

вами большие дела сделаем». А потом сам вскоре заболел и в феврале умер. В. Л. Комарович советовал менять прежде всего женские вещи. Я пошла на Сытный рынок, где была барахолка. Взяла свои платья. Голубое крепдешиновое я променяла на один килограмм хлеба. Это было плохо, а вот серое платье поменяла на килограмм 200 граммов дуранды. Это было лучше.

Как мы варили суп? Получали 300 граммов мяса. Папа мелко нарезал это мясо, кости толкли в ступке и варили большую кастрюлю супа.

Зима началась очень рано и была очень холодная. Дрова у нас были благодаря стараниям Сергея Михайловича. Дворник отказался носить и посоветовал нам перенести все дрова домой.

Продолжаю писать вместо Зины.

Я тоже помню, как Василий Леонидович посоветовал нам менять женские вещи. Он сказал: «Жура наконец поняла, какое положение: она разрешила поменять свои модельные туфли». Жура — это его дочь, она училась уже в Театральном институте. Василий Леонидович иногда жаловался на ее эгоизм (помню его фразу: «Вы не знаете, что значит иметь в доме кончающую гимназистку!»). Модные женские вещи — единственное, что можно было обменять: продукты были только у подавальщиц, продавщиц, поварих.

А что такое дуранда — узнайте, зайдите как-нибудь в фуражный магазин, где продают корм для скота. Дуранда спасала ленинградцев в оба голода.

Впрочем, мы ели не только дуранду. Ели столярный клей. Варили его, добавляли нахучих специй и делали студень. Дедушке (моему отцу) этот студень очень нравился. Столярный клей я достал в Институте — 8 плиток. Пока варили клей, запах был ужасающий.

Передаю перо Зине.

В клей клали сухие коренья и ели с уксусом и горчицей. Тогда можно было как-то проглотить. Удивительно, я варила клей, как студень, и разливала в блюда, где он застывал. Еще мы ели кашу из манной крупы. Этой манной мы чистили детские шубки белого цвета. Манная крупа была с шерстинками от шубы, имела густо-серый цвет от грязи, но все были счастливы, что у нас оказалась

такая крупа. В начале войны мы купили несколько бутылок уксуса и несколько пачек горчицы. Интересно, что когда мы эвакуировались и продавали вещи, то бутылки с уксусом продали по 150 рублей. Они ценились так же, как письменный прибор.

Как мы отапливались? Сергей Михайлович еще весной купил дрова, но распилить и расколоть не успели, а когда началась война, дворник отказался это делать. Дрова стали растаскивать, поэтому мы решили их поднять на пятый этаж. Я помню, таскали их Сергей Михайлович, я, Юра и Тамара. Сложили их в кухне под окном. Потом мы в кухне их пилили, а Сергей Михайлович мелко колол для буржуйки, на которой готовили пищу. Вначале мы топили в комнате изразцовую печку. На наше несчастье, она испортилась, и нам пришлось звать печника и платить ему вином, которое выдавали по карточкам и которое мы могли бы обменять на хлеб. Когда Юра с Ниночкой эвакуировались, они отдали нам свою замечательную буржуйку. Мы ее поставили в комнату и уже готовили в комнате и обогревались. У Ниночкиного знакомого Роньки мы обменяли мои золотые часы на 750 граммов риса. Часы были золотые, заграничные, плоские, но не шли. Бабушка выменяла 3 килограмма сливочного масла на золотой браслет и один килограмм дала нам украдкой от дедушки (у дедушки начиналась патологическая жадность — следствие дистрофии).

Итак, я начинаю писать.

Наш рассказ похож на детскую игру: каждый следующий пишет продолжение, не зная, что написал предшествующий; получается ерунда, которую потом весело читать. Но в том, что мы пишем, веселого нет. Это был такой ужас, который сейчас трудно вспомнить, так как память, обороняясь, выбрасывает самое страшное.

Помню, как к нам пришли два скекулянта. Я лежал, дети тоже. В комнате было темно. Она освещалась электрическими батарейками с лампочками от карманного фонаря. Два молодых человека вошли и стали спрашивать: «Баккара, готовальни, фотоаппараты есть?» Спрашивали и еще что-то. В конце концов что-то у нас купили. Это было уже в феврале или марте. Они были страшны, как могильные черви. Мы еще шевелились в нашем темном склепе, а они уже приготовились нас жрать.

А перед тем — осенью — приходил Дмитрий Павлович Калистов. Шутя спрашивал, не продадим ли мы собачки, нет ли у нас знакомых, которые хотели бы передать собачек «в надежные руки». Калистовы уже ели собак, солили их мясо впрок. Резал Дмитрий Павлович не сам — это ему делали в Физиологическом институте. Впрочем, к тому времени, когда Д. П. приходил к нам, в городе не оставалось ни собак, ни кошек, ни голубей, ни воробьев. На Лахтинской улице было раньше много голубей. Мы видели, как их ловили. Павловские собаки в Физиологическом институте были тоже все съедены. Доставал их мясо и Дмитрий Павлович. Помню, как я его встретил около Большой Пушкарской, он шел с рюкзаком за плечами, нес собачку из Физиологического института. Собачье мясо, говорили, очень богато белками.

Одно время мне удалось добыть карточки в диетстоловую. Диетстоловая помещалась за Введенской, кажется, на Павловской улице, недалеко от Большого. В столовой была темнота: окна были «зафанерены». На некоторых столах горели коптилки. К столу с коптилкой собирались «обедающие» и вырезали необходимые талоны. Развилась кража: коптилку внезапно тушили, и воры хватали со стола отрезанные талончики и карточки. Раз украли и у меня талончики. Сцены бывали ужасные. Некоторые голодающие буквально приползали к столовой, других втаскивали по лестнице на второй этаж, где помещалась столовая, так как они сами подняться уже не могли. Третий не могли закрыть рта, и из открытого рта у них сбегала слюна на одежду. Лица были у одних опухшие, налитые какой-то синеватой водой, бледные, у других — страшно худые и темные. А одежды! Голодающих не столько мучил голод, как холод — холод, шедший откуда-то изнутри, непреодолимый, вероятно мучительный. Поэтому кутались как только могли. Женщины ходили в брюках своих умерших мужей, сыновей, братьев (мужчины умирали первыми), обвязывались платками поверх пальто. Еду женщины брали с собой — в столовой не ели. Несли ее детям или тем, кто уже не мог ходить. Через плечо на веревке вешали бидон и в этот бидон клали все: и первое, и второе. Ложки две каши, суп — одна вода. Считалось все же выгодным брать еду по продуктовым карточкам в столовой, так как «отоварить» их иным способом было почти невозможно.

Уходя из этой столовой, я видел однажды страшную картину. На углу Большого и Введенской помещалась спецшкола, военная, для молодежи. Учащиеся там голодали, как и всюду. И умирали. Наконец школу решили распустить. И вот кто мог — уходил. Некоторых вели под руки матери и сестры, они шатались, путались в шинелях, висевших на них, как на вешалках, падали, их волокли матери и сестры. Лежал уже снег, который, конечно, никто не убирал, стоял страшный холод. А внизу, под спецшколой, был гастроном. Выдавали хлеб. Получавшие всегда просили «довесочки». Эти «довесочки» тут же съедали. Ревниво следили при свете коптилок за весами (в магазинах было особенно темно: перед витринами были вздигнуты из досок и земли заслоны). Развилось и своеобразное блокадное воровство. Мальчишки, особенно страдавшие от голода (подросткам нужно больше пищи), бросались на хлеб и сразу начинали его есть. Они не пытались убежать: только бы съесть побольше, пока не отняли. Они заранее поднимали воротники, ожидая побоев, ложились на хлеб и ели, ели, ели. А на лестницах домов ожидали другие воры и у ослабевших отнимали продукты, карточки, паспорта. Особенно трудно было пожилым. Те, у которых были отняты карточки, не могли их восстановить. Достаточно было таким ослабевшим не поесть день или два, как они не могли ходить, а когда переставали действовать ноги — наступал конец. Обычно семьи умирали не сразу. Пока в семье был хоть один, кто мог ходить и выкупать хлеб, остальные, лежавшие, были еще живы. Но достаточно было этому последнему перестать ходить или свалиться где-нибудь на улице, на лестнице (особенно тяжело было тем, кто жил на высоких этажах), как наступал конец всей семье.

По улицам лежали трупы. Их никто не подбирал. Кто были умершие? Может быть, у той женщины еще жив ребенок, который ее ждет в пустой холодной и темной квартире? Было очень много женщин, которые кормили своих детей, отнимая у себя необходимый им кусок. Матери эти умирали первыми, а ребенок оставался один. Так умерла наша сослуживица по издательству — О. Г. Давидович. Она все отдавала ребенку. Ее нашли мертвой в своей комнате. Она лежала на постели. Ребенок был с ней под одеялом, теребил мать за нос, пытаясь

ее «разбудить». А через несколько дней в комнату Давидович пришли ее «богатые» родственники, чтобы взять... не ребенка, а несколько оставшихся от нее колец и брошек. Ребенок умер позже в детском саду.

У валявшихся на улицах трупов обрезали мягкие части. Началось людоедство! Сперва трупы раздевали, потом обрезали до костей. Мяса на них почти не было, обрезанные и голые трупы были страшны.

Людоедство это нельзя осуждать огульно. По большей части оно не было сознательным. Тот, кто обрезал труп, редко ел это мясо сам. Он либо продавал это мясо, обманывая покупателя, либо кормил им своих близких, чтобы сохранить им жизнь. Ведь самое важное в еде белки. Добыть эти белки было неоткуда. Когда умирает ребенок и знаешь, что его может спасти только мясо, — отрежешь у трупа...

Но были и такие мерзавцы, которые убивали людей, чтобы добыть их мясо для продажи. В огромном красном доме бывшего Человеколюбивого общества (угол Зелениной и Гейслеровского) обнаружили следующее. Кто-то якобы торговал картошкой. Покупателю предлагали заглянуть под диван, где лежала картошка, и, когда он наклонялся, следовал удар топором в затылок. Преступление было обнаружено каким-то покупателем, который заметил на полу несмытую кровь. Были найдены кости многих людей.

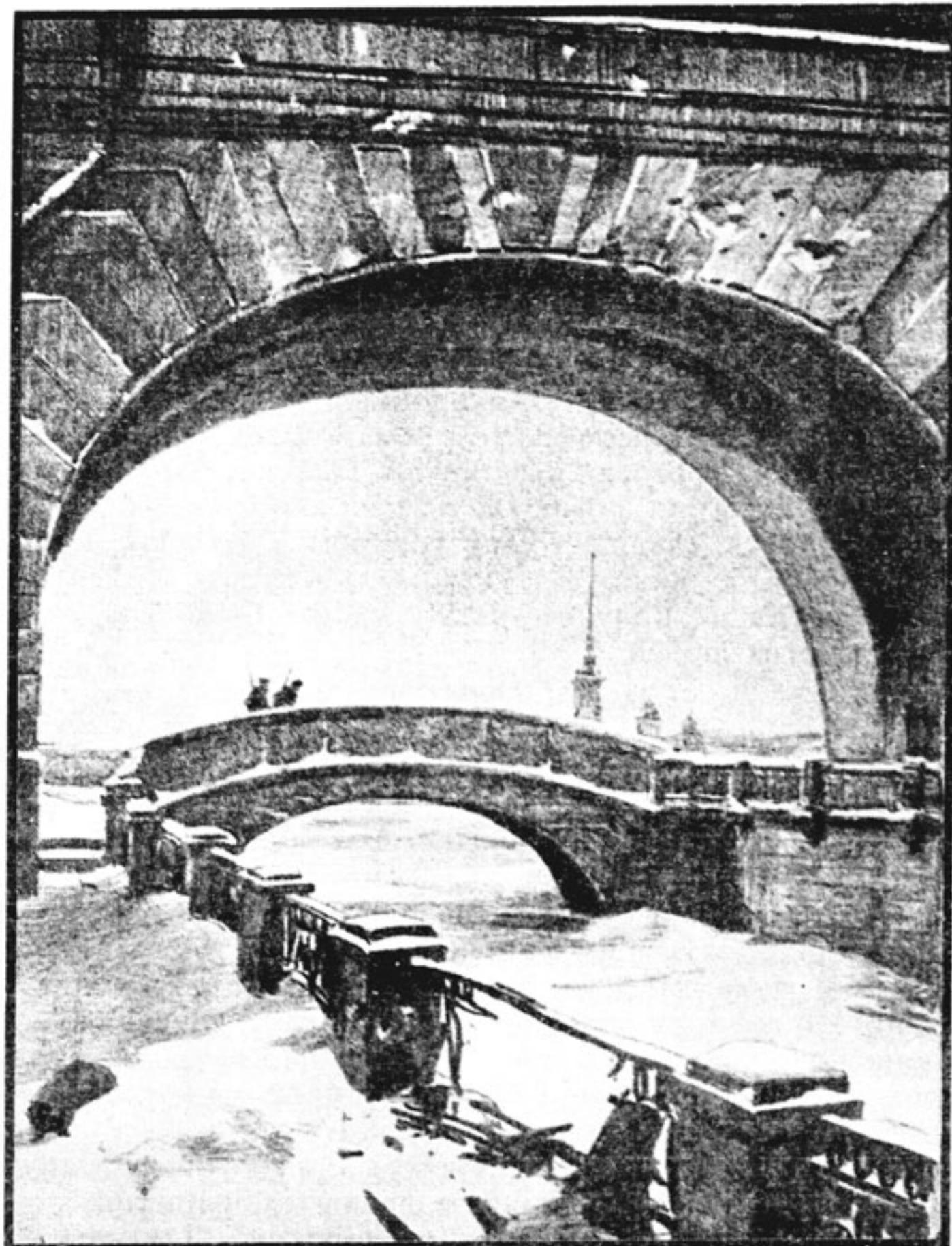
Так съели одну из служащих Издательства АН СССР — Вавилову. Она пошла за мясом (ей сказали адрес, где можно было выменять вещи на мясо) и не вернулась. Погибла где-то около Сытного рынка. Она сравнительно хорошо выглядела. Мы боялись выводить детей на улицу даже днем.

Не было ни света, ни воды, ни газет (первая газета стала расклеиваться на заборах только весной — небольшой листок, кажется, раз в две недели), ни телефонов, ни радио! Но все-таки общение между людьми сохранялось. Люди ждали какого-то генерала Кулика, который якобы идет на выручку Ленинграда. С тайной надеждой все повторяли: «Кулик идет».

Улицы были завалены снегом, только посередине оставались тропки. Все были раздражительны до невероятности. Помню, раз я шел по середине Лахтинской

улицы. Впереди меня — характерная блокадная фигура: поверх пальто платок или одеяло, из-под пальто торчат брюки. Идет эта фигура (мужчина или женщина — не разберешь) медленно, волоча ноги (поднять их кверху трудно, а волочить еще можно). Я иду сзади в зеленых

*Ленинград. Блокада. Рисунок В. Богаткина*



бурках, в овчинном «романовском» полушибке, оставшемся у меня еще от Соловков. Иду медленно, с палкой, которую мне добыл С. Д. Балухатый из коллекции А. С. Орлова (Орлов любил делать палки из можжевельника, а Балухатый по отъезде Орлова жил в его квартире и раздавал «нуждающимся» его палки). Вдруг фигура впереди меня останавливается, оборачивается и истошно кричит (крик больше похож на сиплое шипение): «Да проходите же, наконец!» Фигуру раздражало, что я ее не обгоняю, а как ее обгонишь, когда тропка узка и кругом сугробы.

Несмотря на отсутствие света, воды, радио, газет, государственная власть «наблюдала». Был арестован Г. А. Гуковский. Он что-то много под арестом наболтал, струсив, и посадил Б. И. Коплана, А. И. Никифорова. Арестовали и В. М. Жирмунского. Жирмунского и Гуковского вскоре выпустили, и они вылетели на самолете. А Коплан умер в тюрьме от голода. Дома умерла его жена — дочь А. А. Шахматова. А. И. Никифорова выпустили, но он был так истощен, что умер вскоре дома (а был он богатырь, русский молодец кровь с молоком, купался всегда зимой в проруби против Биржи на Стрелке). Умер В. В. Гиппиус. Умер Н. П. Андреев, З. В. Эвальд, Я. И. Ясинский (сын писателя), М. Г. Успенская (дочь писателя) — все это были сотрудники Пушкинского Дома. Всех и не перечислишь.

Помню смерть Я. И. Ясинского. Это был высокий, худой и очень красивый старик, похожий на Дон Кихота. Он жил в библиотеке Пушкинского Дома. За стеллажами книг у него стояла походная кровать-раскладушка. Дома у него никого не было, и домой идти он не мог. Он лежал за своими книгами и изредка выходил в вестибюль. Рот у него не закрывался, изо рта текла слюна, лицо было черное, волосы совсем поседели, отросли и создавали жуткий контраст черному цвету лица. Кожа обтянула кости. Особенно страшна была эта кожа у рта. Она становилась тонкой-тонкой и не прикрывала зубов, которые торчали и придавали голове сходство с черепом. Раз он вышел из-за своих стеллажей с одеялом на плечах, волоча ноги, и спросил: «Который час?» Ему ответили. Он переспросил (голос у дистроиков становился глухим, так как и мускулы голосовых связок атрофировались): «День или ночь?» Он спрашивал в вестибюле, но ведь

стекол не было, окна были «зафанерены», ему не было видно: светло или темно на улице. Через день или два наш заместитель директора по хозяйственной части Канайлов выгнал его из Пушкинского Дома. Канайлов (фамилия-то какая!) выгонял всех, кто пытался пристроиться и умереть в Пушкинском Доме: чтобы не надо было выносить трупы. У нас умирали некоторые рабочие, дворники и уборщицы, которых перевели на казарменное положение, оторвали от семьи, а теперь, когда многие не могли дойти до дома, их вышвыривали умирать на тридцатиградусный мороз. Канайлов бдительно следил за всеми, кто ослабевал. Ни один человек не умер в Пушкинском Доме.

Раз я присутствовал при такой сцене. Одна из уборщиц была еще довольно сильна, и она отнимала карточки у умирающих для себя и Канайлова. Я был в кабинете у Канайлова. Входит умирающий рабочий (Канайлов и уборщица думали, что он не сможет уже подняться с постели), вид у него был страшный (изо рта бежала слюна, глаза вылезли, вылезли и зубы). Он появился в дверях кабинета Канайлова, как привидение, как полуразложившийся труп, и глухо говорил только одно слово: «Карточки, карточки!» Канайлов не сразу разобрал, что тот говорит, но когда понял, что он просит отдать ему карточки, страшно рассвирепел, ругал его и толкнул. Тот упал. Что произошло дальше — не помню. Должно быть, и его вытолкнули на улицу.

Фольклорист Н. П. Андреев умирал так. Сперва он дежурил в институте и за себя, и за М. К. Азадовского. Азадовский очень плохо себя чувствовал и просил его за себя дежурить. Н. П. Андреев пришел на помощь товарищу (тем более что у М. К. Азадовского только что родился сын — прямо в бомбоубежище) и стал дежурить. Двойные дежурства очень истощили Н. П. Андреева, а дочь его ушла в госпиталь работать сестрой (это тоже был один из способов выжить) и отцу не помогала. Однажды Н. П. Андреев пришел в Пушкинский Дом по дороге домой из Герценовского института и попросил кого-нибудь проводить его: он не мог дойти до дома. Жил он на Введенской улице в доме, где когда-то жил Б. М. Кустодиев. Проводить его пошла А. М. Астахова. Они шли бесконечно долго. По пути они два раза заходили в чужие квартиры отдохнуть. В одной квартире

Н. П. Андреева накормили сахаром. Это дало ему силы дойти до дому. Были еще люди, способные отрывать от себя и от своей семьи куски сахара — куски жизни. Удивительное действие оказывала еда: стоило съесть маленький кусочек сахара, как ясно чувствовал в себе прилив сил. Еда пьянила и бодрила. Это было почти чудо! Через несколько дней я пошел к Н. П. Андрееву отнести ему билет на самолет. В институте кто-то не полетел (из лиц, удостоенных благоволением начальства), и надо было доставить билет Андрееву за несколько часов до отлета самолета. Я пошел к нему ночью. Помню, шел по совершенно пустым улицам, по середине мостовой, по тропке в своем романовском полушибке и с орловской палкой. На Большой Пушкарской я упал и очень расшиб колени, но поднялся (сильно истощенные подняться не могли — они могли только идти). Я дошел до него и даже досчучался (это было трудно), но отлететь он уже не смог. Через некоторое время он умер. А после смерти пришла к нему жена со Старо-Невского (его молодая жена жила отдельно от него) и искала сберкнижку, на которой у него было довольно много денег...

Как-то мистически страшно умер литературовед Б. М. Энгельгардт. Помню, что я много раз рассказывал в Казани историю его смерти, но сейчас я уже ее забыл (память, как я уже сказал, выбрасывает, очищает сама себя от слишком ужасных воспоминаний).

Трупы на улице лежали против Института литературы — ближе к Биржевому мосту (месяца два лежал там труп женщины), в сгоревшем здании Мытнинского общежития Университета (помню, на первом этаже лежали трупы двух детей), на Кронверкском — против Народного дома, где весной был устроен морг и куда в начале марта мы свезли на детских саночках труп моего отца.

В Институте в это время я ел дрожжевой суп. Этого дрожжевого супа мы ждали более месяца. Слухи о нем подбадривали ленинградцев всю осень. Это было изобретение, и в самом деле поддержавшее многих и многих. Делался он так: заставляли бродить массу воды с опилками. Получалась вонючая жидкость, но в ней были белки, спасительные для людей. Можно было съесть даже две тарелки этой вонючей жидкости. Две тарелки! Этой еды совсем не жалели. У нас еще оставались черные сухари. Помню, что я подарил коробку черных сухарей библио-

текарше -- Софье Емельяновне. У нее умер от истощения муж и умирали дети (двою). Софья Емельяновна и сейчас работает в Институте в библиотеке, а один из ее сыновей стал уже инженером.

Вскоре я перестал ходить. Приходил только за жалованьем и за карточками. Однажды зашел за моими карточками отец. Он ходил пешком в свою типографию за карточками для себя и зашел за моими по пути. Как я раскаивался потом, что пустил его идти! Каждое такое «путешествие» отнимало очень много сил, приближало смерть.

Всю нашу семью спасала Зина. Она стояла с двух часов ночи в подъезде нашего дома, чтобы «отоварить» наши продуктовые карточки (только очень немногие могли получить в магазинах то, что им полагалось по карточкам), она ездила с санками за водой на Неву. Мы пробовали добывать воду из снега с крыши, но надо было истратить слишком много топлива, чтобы получить совсем мало воды. Походы за водой были такие. На детские саночки ставили детскую ванну. В ванну клади палки. Эти палки нужны были для того, чтобы вода не очень плескалась. Палки плавали в ванне и не давали воде ходить волнами. Ездили за водой Зина и Тамара Михайлова (она жила у нас на кухне). Воду брали у Крестовского моста. «Трасса», по которой ленинградцы ездили за водой, вся обледенела: расплескивавшаяся вода тотчас замерзала на тридцатиградусном морозе. Санки скатывались с середины дороги набок, и многие теряли всю воду. У всех были те же ванны и палки или ведра с палками: палки было изобретение тех лет! Но труднее всего было зачерпнуть воду и потом подняться от Невы на набережную. Люди карабкались на четвереньках, цепляясь за скользкий лед. Сил прорубить ступеньки ни у кого не было. В феврале, впрочем, появилось несколько пунктов, где можно было получить воду: на Большом проспекте у пожарной команды, например. Там открыли люк с водой. Вокруг люка тоже нарос лед. Люди плашмя ползли в ледянную гору и опускали ведра, как в колодец. Потом скатывались вниз, держа ведро в обнимку.

В декабре (если не ошибаюсь) появились какие-то возможности эвакуации на машинах через Ладожское озеро. Эту ледовую дорогу называли дорогой смерти (а

вовсе не «дорогой жизни», как сусально называли ее наши писатели впоследствии). Немцы ее обстреливали, дорогу заносило снегом, машины часто проваливались в полыни (ведь ехали ночью). Рассказывали, что одна мать сошла с ума: она ехала во второй машине, а в первой ехали ее дети, и эта первая машина на ее глазах провалилась под лед. Ее машина быстро объехала полынью, где дети корчились под водой, и помчалась дальше не останавливаясь. Сколько детей умерло от истощения, было убито, провалилось под лед, замерзло или пропало без вести на этой дороге! Один Бог ведает! У А. Н. Лозановой (фольклористки) погиб на этой дороге муж. Она везла его на детских саночках, так как он уже не мог ходить. По ту сторону Ладоги она оставила его на санках вместе с чемоданами и пошла получать хлеб. Когда она вернулась с хлебом, ни саней, ни мужа, ни чемоданов не было. Людей грабили, отнимали чемоданы у истощенных, а самих их спускали под лед. Грабежей было очень много. На каждом шагу — подлость и благородство, самопожертвование и крайний эгоизм, воровство и честность.

По этой дороге уехал и наш мерзавец Канайлов. Он принял в штат Института несколько еще здоровых мужчин и предложил им эвакуироваться вместе с ним, но поставил условие, чтобы они никаких вещей не брали, а везли его чемоданы. Чемоданы были, впрочем, не его, а Онегинские — из Онегинского имущества, которое поступило к нам по завещанию Онегина (незаконного сына Александра III — ценителя Пушкина и коллекционера). Онегинские чемоданы были кожаные, желтые. В эти чемоданы были погружены антикварные вещи Пушкинского Дома, в тюки увязаны замечательные ковры (например, был у нас французский ковер конца XVIII века, голубой). Поехал Канайлов вместе со своим помощником Ехаловым. Это тоже первостепенный мерзавец. Был он сперва профсоюзным работником (профсоюзовым вождем), выступал на собраниях, призывал, произносил «зажигательные» речи. Потом был у нас завхозом и краля. Вся компания благополучно перевалила через Ладожское озеро. А там на каком-то железнодорожном перекрестке Ехалов, подговорив рабочих, сел вместе с ними и всеми коврами на другой поезд (не на тот, на котором собирался ехать Канайлов) и, помахав ручкой Канайлову, уехал. Тот ничего не мог сделать. Теперь Канайлов работает в

Саратове, кажется, член горсовета, вообще — «занимает должность». Но в Ленинград не решается вернуться. А Ехалов решился. Он даже решился сразу после войны предложить свои услуги в Пушкинском Доме, но его вызвали в ЛАХУ и сказали, что его разыскивает уголовный розыск. Он исчез из Академии, но все-таки устроился раздавать квартиры где-то на Васильевском острове. В качестве начальника по квартирам он получил себе несколько квартир, брал взятки и в конце концов был арестован. Явился он перед тем и в Казань: ходил в военной форме (в армии он никогда не служил), с палкой и изображал из себя инвалида войны.

После отъезда Канайлова Институтом стал ведать М. М. Калаушин. Увольнения прекратились. Напротив, было принято несколько человек, в том числе и наша Тамара Михайлова. М. М. Калаушин сам был уволен перед тем из Института одним из первых. Он работал санитаром, и когда он пришел перед отъездом Канайлова наниматься к нам на работу в Институт, я едва его узнал. Лицо его отекло, покрылось пятнами и было совершенно деформировано. В Институте он что-то организовал с карточками, принял В. М. Глинку, приблизил В. А. Мануйлова, а впоследствии взял и М. И. Стеблина-Каменского. Эти четыре человека спасали Институт до 1945 года. Впрочем, Калаушин уехал, оставив главным В. А. Мануйлова.

Когда бы я ни заходил в кабинет Калаушина, он ел. Ел хлеб, обмакивая его в растительное масло. Очевидно, оставались карточки от тех, кто улетал или уезжал по дороге смерти.

Еще до отъезда Канайлова с Ехаловым в Институт были впущены моряки с подводных лодок, которые стояли на Малой Неве прямо против нашего Института. Дело в том, что остатки нашего флота, ледоколы, турбоэлектроход «Вячеслав Молотов», — все были введены в Неву и стояли у берега с левой стороны под защитой окружающих зданий. «Вячеслав Молотов» стоял под защитой Адмиралтейства, ледокол «Ермак» — под защитой Эрмитажа и т. д. Для ценнейших зданий города это соседство не было безопасным. Наши подводные лодки тоже были не из приятных соседей, но не только тем, что они могли приманивать к нам немецких бомбардировщиков...

Команды кораблей были пущены к нам в музей и дали обещание давать нашему начальству по тарелке супа. Ради этого их комнаты были обставлены лучшей мебелью. Диван Тургенева, кресло Батюшкова, часы Чаадаева и прочее — все отдавалось морякам ради чечевичной похлебки. Чечевица была действительно тогда в ходу и казалась необыкновенно вкусной. Кроме того, морякам было разрешено пользоваться библиотекой. Моряки не остались в долгу. Они провели кабель с подводных лодок и дали себе и нашему начальству настоящий электрический свет! И вот началось... Ночами какие-то тени бродили по музею, взламывали шкафы, искали сокровища. Собрание дворянских альбомов очень пострадало. Пострадали и многие шкафы в библиотеке. А весной, когда вскрылась Нева, моряки без предупреждения в один прекрасный день ушли из Института, унеся с собою что только было можно. После их ухода я нашел на полу позолоченную дощечку: «Часы Чаадаева». Самих часов не было. На каком дне они лежат сейчас?

Дистрофия развивала клептоманию и у сотрудников Института. Канцелярская служащая (Валентина ... отчество и фамилию я забыл) сняла в Институте даже стенные часы, суконную скатерть со стола заседаний и еще что-то. Она ушла потом работать в госпиталь, и больше я ее в Институте не видел. Это была канайловская знакомая.

Зимой одолевали пожары. Дома горели неделями. Их нечем было тушить. Обессиленные люди не могли уследить за своими «буржуйками». В каждом доме были истощенные, которые не могли двигаться, и они сгорали живыми. Ужасный случай был в большом новом доме на Суворовском (дом этот и сейчас стоит — против окон Ахматовой). В него попала бомба, а дом этот был превращен в госпиталь. Бомба была комбинированная — фугасно-зажигательная. Она пробила все этажи, уничтожив лестницу. Пожар начался снизу, и выйти из здания было нельзя. Раненые выбрасывались из окон: лучше разбиться насмерть, чем сгореть.

В Ботаническом саду вымерзли тысячелетние папоротники, вымерзли знаменитые пальмы (помните рассказ Гаршина о пальме, выдавившей стекла оранжереи, вырвавшейся на свободу и замерзшей?).

В нашем доме вымерли семьи птиловских рабочих.

Наш дворник Трофим Кондратьевич получал на них карточки и ходил вначале здоровым. На одной с нами площадке, в квартире Колесовских, как мы впоследствии узнали, произошел следующий случай. Женщина (Зина ее знала) забирала к себе в комнату детей умерших пущиковских рабочих (я писал уже, что дети часто умирали позднее родителей, так как родители отдавали им свой хлеб). получала на них карточки, но... не кормила. Детей она запирала. Обессиленные дети не могли встать с постелей: они лежали тихо и тихо умирали. Трупы их оставались тут же до начала следующего месяца, пока можно было на них получать еще карточки. Весной эта женщина уехала в Архангельск. Это была тоже форма людоедства, но людоедства самого страшного.

Трупы умерших от истощения почти не портились: они были такие сухие, что могли лежать долго. Семьи умерших не хоронили своих: они получали на них карточки. Страха перед трупами не было, родных не оплакивали — слез тоже не было. В квартирах не запирались двери: на порогах накапливался лед, как и по всей лестнице (ведь воду носили в ведрах, вода расплескивалась, ее часто проливали обессиленные люди, и вода тотчас замерзала). Холод гулял по квартирам. Так умер фольклорист Калецкий. Он жил где-то около Кировского проспекта. Когда к нему пришли, дверь его квартиры была полуоткрыта. Видно было, что последние жильцы пытались сколоть лед, чтобы ее закрыть, но не смогли. В холодных комнатах под одеялами, шубами, коврами лежали трупы: сухие, не разложившиеся. Когда умерли эти люди?

На Большом проспекте около Гатчинской улицы разгромили хлебный магазин. Как это могли сделать? Ведь любая продавщица (среди них не было сильно истощенных) могла справиться с целой толпой истощенных людей. Но власть в городе приободрилась: вместо старых истощенных милиционеров по дороге смерти прислали новых — здоровых. Говорили — из Вологодской области.

В очередях люди все надеялись: после Кулика ждали и еще кого-то, кто-то уже идет к Ленинграду. Что делалось вне Ленинграда, мы не знали. Знали только, что немцы не всюду. Есть Россия. Туда, в Россию, уходила дорога смерти, туда летели самолеты, но оттуда почти не посту-

пало еды, во всяком случае для нас. Юра с Ниной (своей второй женой) уехали по дороге смерти в машине, которая специально была оборудована и как жилье. Перед отъездом Юра обещал прислать еды. Отец ждал этой еды со страшным нетерпением; все время думал о том, что Юра пришлет копченой колбасы. Он все время говорил о еде, вспоминал об обедах на волжских теплоходах, и когда ел суп (вернее то, что мы называли супом), то очень сопел. Меня, захваченного уже раздражительностью дистрофии, сердило и это сопение (я не понимал, что виновато сердце и эта копченая колбаса, которую он так ждал).

Расскажу теперь о том, как мы жили в своей квартире на Лахтинской улице (дом 9, кв. 12).

Мы старались как можно больше лежать в постелях. Накидывали на себя побольше всего теплого. К счастью, у нас были целы стекла. Стекла были прикрыты фанерами (некоторые), заклеены крест-накрест бинтами. Но днем все же было светло. Ложились в постель часов в шесть вечера. Немного читали при свете электрических батареек и коптилок (я вспомнил, как делал коптилки в 1919 и 1920 годах — тот опыт пригодился). Но спать было очень трудно. Холод был какой-то внутренний. Он пронизывал всего насеквоздь. Тело вырабатывало слишком мало тепла. Холод был ужаснее голода. Он вызывал внутреннее раздражение. Как будто бы тебя щекотали изнутри. Щекотка охватывала все тело, заставляла ворочаться с боку на бок. Думалось только о еде. Мысли были при этом самые глупые: вот если бы раньше я мог знать, что наступит голод! Вот если бы запасся консервами, мукой, сахаром, копченой колбасой!

Мы подсчитали с Зиной, сколько дней еще сможем прожить на наших запасах. Если расходовать через день по плитке столярного клея, то хватит на столько-то дней, а если расходовать по плитке через два дня — то на столько-то. И тут же сетовали: почему я не доел своей порции тогда-то? Вот она бы пригодилась сейчас! Почему я не купил в июле в магазине печенья? Я ведь уже знал, что наступит голод. Почему купил всего 11 бутылок рыбьего жира? Надо было зайти в аптеку еще раз, послать Зину. И все в таком же роде, без конца, со страшным раздражением на самого себя. И опять внутренняя щекотка, и опять ворочаешься с боку на бок.

Утром растапливали «буржуйку». Топили книгами. В ход шли объемистые тома протоколов заседаний Государственной думы. Я сжег их все, кроме корректур последних заседаний: это было чрезвычайной редкостью. Книгу нельзя было запихнуть в печку: она бы не горела. Приходилось вырывать по листику и по листику подбрасывать в печурку. При этом надо было листок смять и время от времени выгребать золу: в бумаге было слишком много мела. Утром мы молились, дети тоже. С детьми мы разучивали стихи. Учили наизусть сон Татьяны, бал у Лариных, учили стихи Плещеева: «Из школы дети воротились, как разрумянил их мороз...» Учили стихи Ахматовой: «Мне от бабушки татарки...» и др. Детям было четыре года, они уже много знали. Еды они не просили. Только когда садились за стол, ревниво следили, чтобы всем было поровну. Садились дети за стол за час, за полтора — как только мама начинала готовить. Я толок в ступке кости. Кости мы варили по многу раз. Кашу делали совсем жидкую, жиже нормального супа, и в нее для густоты подбалтывали картофельную муку, крахмал, найденный нами вместе с «отработанной» манной крупой, которой чистили беленькие крольчики шубки детей. Дети сами накрывали на стол и молча усаживались. Сидели смирно и следили за тем, как готовилась «еда». Ни разу они не заплакали, ни разу не попросили еще: ведь все делилось поровну.

От разгоревшейся печурки в комнате сразу становилось тепло. Иногда печурка накалялась докрасна. Как было хорошо!

Все люди ходили грязные, но мы умывались, тратили на это стакана два воды и воду не выливали — мыли в ней руки до тех пор, пока вода не становилась черной. Уборная не действовала. Первое время можно было сливать, но потом где-то внизу замерзло. Мы ходили через кухню на чердак. Другие заворачивали сделанное в бумагу и выбрасывали на улицу. Поэтому около домов было опасно ходить. Но тропки все равно были протоптаны по середине мостовой. К счастью, по серьезным делам мы ходили раз в неделю, даже раз в десять дней. И это было понятно: тело переваривало все, да и перевариваемого было слишком мало. Хорошо все-таки, что у нас был пятый этаж и ход на чердак такой удобный... Весной,

когда потеплело, на потолке в коридоре (мы ходили в определенные места) появились коричневые пятна.

От топки бумагой засорилась печка. Об этом Зина уже писала. К счастью, мы нашли печника, который пробил кладку в печи, соединил каналы дымохода, и снова можно было топить.

\* \* \*

В моем писании получился перерыв недели на три. Сейчас у нас на даче в Зеленогорске (Лиственная, 16, дача 132) наступила жара, отвлекшая от мыслей о блокаде. Солнце, купанье, счастливый воздух сытой жизни! И вдруг блокада сама напомнила о себе. Рядом с нами за тонкой перегородкой живет семья: ребенок месяцев трех-четырех, отец, мать и две бабушки. Одна из бабушек оказалась женой Кулика — того самого, о котором я писал уже, которого ждали миллионы умиравших ленинградцев в холодах, в темноте, слухи о котором передавались в очередях: «Кулик идет! Кулик разворачивается!» Сам Кулик сейчас на кумысе (у него туберкулез). Он скоро приедет сюда, я его увижу. Его развеселая жена уверяет всех, что он дамский угодник, высок и красив собой. Господи! Понимает ли он сам — кто он такой, кем он был для ленинградцев?

Нет, голод несовместим ни с какой действительностью, ни с какой сырой жизнью. Они не могут существовать рядом. Одно из двух должно быть миражом: либо голод, либо сытая жизнь. Я думаю, что подлинная жизнь — это голод, все остальное мираж. В голод люди показали себя, обнажились, освободились от всяческой мишурь: одни оказались замечательными, беспримерными героями, другие — злодеями, мерзавцами, убийцами, людоедами. Середины не было. Все было настоящее. Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог. Его ясно видели хорошие. Совершались чудеса. Бог произнес: «Поелику ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст моих» (кажется, так в Апокалипсисе).

Человеческий мозг умирал последним. Когда переставали действовать руки и ноги, пальцы не застегивали пуговицы, не было сил закрыть рот, кожа темнела и обтягивала зубы и на лице ясно проступал череп с обнажающимися, смеющимися зубами, — мозг продолжал

работать. Люди писали дневники, философские сочинения, научные работы, искренно, «от души» мыслили и проявляли необыкновенную твердость, не уступая давлению ветра, не поддаваясь суете и тщеславию.

Художник Чупятов и его жена умерли от голода. Умирая, он рисовал, писал картины. Когда не хватило холста, он писал на фанере и на картоне. Он был «левый» художник, из старинной аристократической семьи, его знали Аничковы. Аничковы передали нам два его наброска, написанные перед смертью: красноликий апокалиптический ангел, полный спокойного гнева на мерзость злых, и Спаситель — в его облике что-то от ленинградских большелобых дистрофиков. Лучшая его картина осталась у Аничковых: темный ленинградский двор колодцем, вниз уходят темные окна, ни единого огня в них нет: смерть там победила жизнь, хотя жизнь, возможно, и жива еще, но у нее нет сил зажечь коптилку. Над двором на фоне темного ночного неба — Покров Богоматери. Богоматерь наклонила голову, с ужасом смотрит вниз, как бы видя все, что происходит в темных ленинградских квартирах, и распростерла ризы, на ризах — изображение древнерусского храма (может быть, это храм Покрова на Нерли — первого Покровского храма).

Надо, чтобы эта картина не прошла. Душа блокады в ней отражена больше, чем где бы то ни было. Разверзлись небеса, и умирающие увидели Бога.

Умер В. Л. Комарович. В его смерть трудно было поверить. В сентябре он приходил к нам такой бодрый и деятельный, учил нас менять вещи на провизию, делал утешительные прогнозы.

О смерти В. Л. Комаровича рассказывали мне Т. Н. Крюкова (его ученица по Нижегородскому университету) и И. Н. Томашевская. Вот как это было. В. Л. уже лежал, а Театральный институт решили эвакуировать. Решили ехать Жура (дочка Василия Леонидовича, которая училась в этом Театральном институте) и Евгения Константиновна (жена Василия Леонидовича). Отца они решили бросить: он бы не смог доехать. Его хотели оставить в открывающемся стационаре для дистрофиков Союза писателей. В Ленинграде положение немного начинало улучшаться, и для писателей и ученых, умирающих от голода, начинали открываться «стационары», где их «в отрыве от семьи» (всех не накормишь!)

немножко подкармливали. В Доме писателя готовили уже помещение для умиравших писателей. Диетической сестрой там должна была быть И. Н. Томашевская. Открытие стационара откладывалось, а эшелон должен был уже отправляться дорогой смерти. И вот Жура (дочь) и Евгения Константиновна (жена) вынесли Василия Леонидовича из квартиры, привязали к сиденью финских санок и повезли через Неву на улицу Войнова. В стационаре они встретили И. Н. Томашевскую и умоляли ее взять Василия Леонидовича. Она решительно отказалась: стационар должен был открыться через несколько дней, а чем кормить его эти несколько дней? И вот тогда жена и дочь подбросили Василия Леонидовича. Они оставили его внизу — в полуподвале, где сейчас гардероб, а сами ушли. Потом вернулись, украдкой смотрели на него, подглядывали за ним — брошенным на смерть. Что пережили они и что пережил он! Когда в открывшемся стационаре Василия Леонидовича навестила Таня Крюкова, он говорил ей: «Понимаешь, Таня, эти мерзавки подглядывали за мной, они прятались от меня!» Василия Леонидовича нашла Ирина Николаевна Томашевская. Она отрывала хлеб от своего мужа и сына, чтобы подкормить Василия Леонидовича, а когда в стационаре организовалось питание, делала все, чтобы спасти его жизнь, но у него уже была необратимая стадия дистрофии. Необратимая стадия — это та стадия голодания, когда человеку уже не хочется есть, он и не может есть: его организм ест самого себя, съедает себя. Человек умирает от истощения, сколько бы его ни кормили. Василий Леонидович умер, когда ему было что есть. Таня к нему заходила: он походил на глубокого старика, голос его был глух, он был совершенно сед. Но мозг умирает последним: он работал. Он работал над своей докторской диссертацией! С собой у него был портфель с черновиками. Одну из его глав (главу о Николе Заразском) я напечатал потом в Трудах Отдела древнерусской литературы (кажется, т. V или VI). Эта глава вполне «нормальная», никто не поверил бы, что она написана умирающим, у которого едва хватало сил держать в пальцах карандаш, умирающим от голода! Но он чувствовал смерть: каждая его заметка имеет дату! Он считал дни. И он видел Бога: его заметки отмечены не только числами, но и христианскими праздниками. Сейчас его бумаги в архиве Пушкинского Дома. Я передал их

туда после того, как их передала мне Т. Н. Крюкова, и я извлек из них главу о Николе Заразском. Т. Н. Крюкова приносила ему два раза мясо — мясо, которого так не хватало и ей самой, и ее мужу. Муж ее тоже умер впоследствии. Но февраль, в который умер Василий Леонидович и ее муж, был еще месяцем, в котором умирали мужчины. Женщины стали больше всего умирать в марте. И в феврале она осталась жива, а в марте уехала.

Что стало затем с Журой и с Евгенией Константиновной? Могли ли они жить после всего этого? Сперва они приехали не то в Самару, не то в Саратов. Они были обе в театре и в театре встретили Б. М. Эйхенбаума, который успел выехать из Ленинграда позднее их на несколько недель. Они бросились к нему (в театре!) и спрашивали: «Что с Василием Леонидовичем?» Больше он их не видел, он не мог им ничего сказать. Говорят, они были на Северном Кавказе (не то в Пятигорске, не то в Кисловодске). Их захватили немцы, и с немцами они уехали. Я уверен, что их нет в живых\*.

Таких случаев, как с Василием Леонидовичем, было много. Модзальские уехали из Ленинграда,бросив умиравшую дочурку в больнице. Этим они спасли жизнь других своих детей. Эйхенбаумы кормили одну из дочек, а другую заморили голодом, так как иначе умерли бы обе. Салтыковы весной, уезжая из Ленинграда, оставили на перроне Финляндского вокзала свою мать привязанной к саночкам, так как ее не пропустил саннадзор. Оставляли умирающих: матерей, отцов, жен, детей; переставали кормить тех, кого «бесполезно» было кормить; выбирали, кого из детей спасти; покидали в стационарах, в больницах, на перроне, в промерзших квартирах, чтобы спастись самим; обирали умерших — искали у них золотые вещи; выдирали золотые зубы; отрезали пальцы, чтобы снять обручальные кольца у умерших — мужа или жены; раздевали трупы на улице, чтобы забрать у них теплые вещи для живых; отрезали остатки иссохшей кожи на трупах, чтобы сварить из нее суп для детей; готовы были отрезать мясо у себя для детей; покидаемые —

\* Нет, они оказались живы. Они живут в Нью-Йорке. Жура замужем за богачом, ездит по Европе, поет песни собственного сочинения под фамилией Комаро (русская фамилия Комарович ее стесняла). Угрызения совести, должно быть, незначительны.

оставались безмолвно, писали дневники и записки, чтобы после хоть кто-нибудь узнал о том, как умирали миллионы. Разве страшны были вновь начавшиеся обстрелы и налеты немецкой авиации? Кого они могли испугать? Сытых ведь не было. Только умирающий от голода живет настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование, не боясь смерти. И мозг умирает последним: тогда, когда умерла совесть, страх, способность двигаться, чувствовать — у одних и когда умер эгоизм, чувство самосохранения, трусость, боль — у других.

Правда о ленинградской блокаде никогда не будет напечатана. Из ленинградской блокады делают «сюсюк». «Пулковский меридиан» Веры Инбер — одесский сюсюк. Что-то похожее на правду есть в записках заведующего прозекторской больницы Эрисмана, напечатанных в «Звезде» (в 1944 или 1945 году). Что-то похожее на правду есть и в немногих «закрытых» медицинских статьях о дистрофии. Совсем немного и совсем все «прилично»...

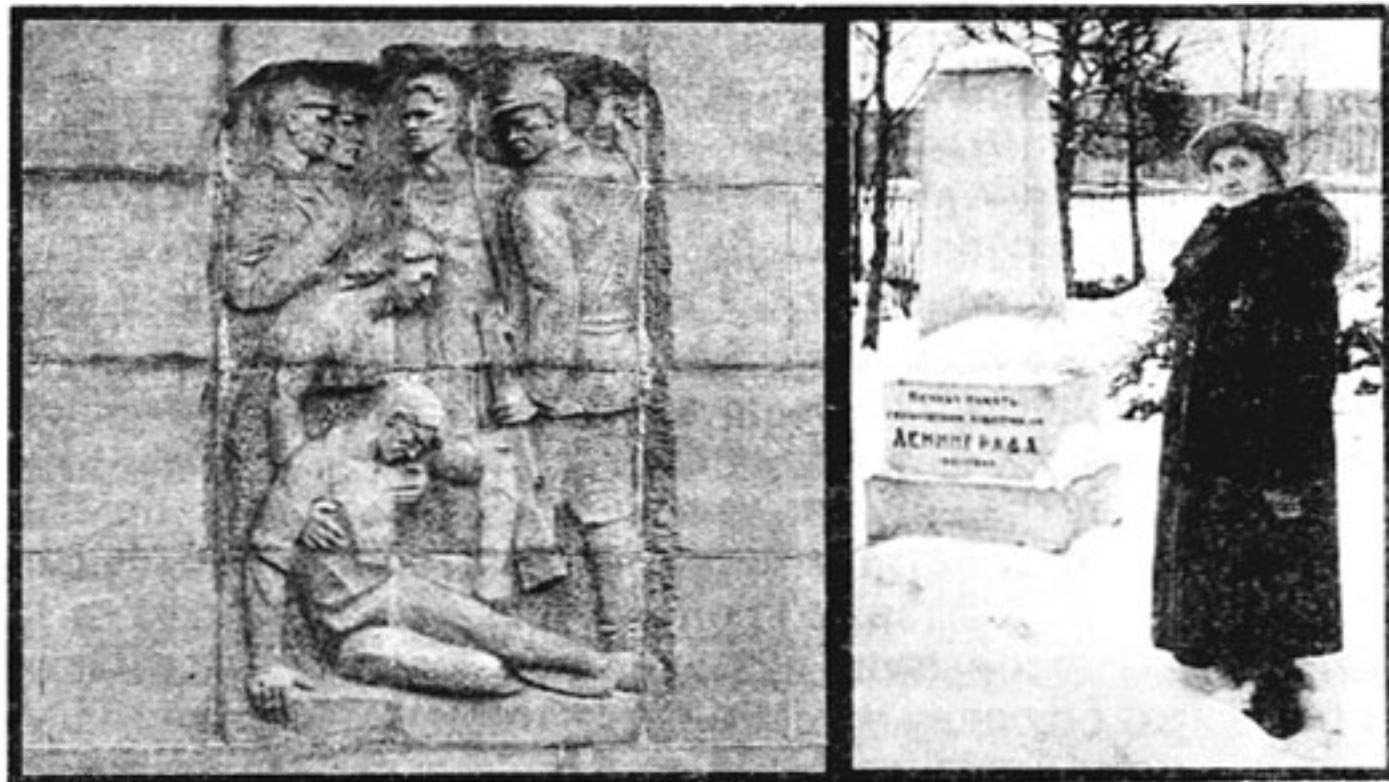
В феврале и марте смертность достигла апогея, хотя выдачи хлеба чуть-чуть увеличились. Я на работу не ходил, изредка выходил за хлебом. Продукты и хлеб приносила Зина, выставая страшные очереди. Хлеб был двух сортов: более черный и более белый. Я считал, что надо брать более белый. Мы так и делали, а он был с бумажной массой! Очень хотелось горбушек. Жадно смотрели на довесочки. Многие просили у продавцов сделать довески: их съедали по дороге. Отец, когда Зина приносila ему его порцию хлеба, ревниво следил, есть ли довески. Он боялся, не съела ли их Зина по дороге. Но, как всегда, Зина стремилась взять себе меньше всех. Стеблины-Каменские по дороге до дома съедали половину того, что получали. Люди сжевывали крупу, ели сырое мясо, так как не могли дотерпеть до дома. Каждую крошку ловили на столе пальцами. Появилось специфическое движение пальцев, по которому ленинградцы узнавали друг друга в эвакуации: хлебные крошки на столе придавливали пальцами, чтобы они прилипли к ним, и отправляли эти частицы пищи в рот. Просто немыслимо было оставлять хлебные крошки. Тарелки вылизывались, хотя «суп», который из них ели, был совершенно жидкий и без жира: боялись, что останется жиринка («жиринка» — это ленинградское слово тех лет, как и «довесочек»).

Тогда-то у нас на подоконнике и умирала от истощения мышь...

Папа в феврале уже лежал, опух и вставал только к еде. Его печурку топила Зина или я. В комнате его стало холодно — внизу не топили. От промерзших окон во время тонки текли длинные лужи. Он думал о ресторанах на волжских пароходах (несколько раз он проводил свой отпуск один на Волге) и о колбасе, которую пришлет Юра. Сердце начало сдавать. В конце февраля в левом плече и в сердце у него появились страшные боли. Нам удалось уговорить прийти к нам старика врача, жившего в доме напротив. Уговорили за продукты. Старик едва поднялся к нам на пятый этаж. Но отец отказался допустить себя осматривать (отец не любил лечиться, не любил врачей). Старик врач ушел, не взяв хлеба, который мы ему совали в руки. Вскоре умер и этот врач, и его жена. Он посоветовал все же греть воду и опускать руки отца в горячую воду. Несколько раз мы так и делали. Лекарств не было: их некому было готовить, но аптеки (некоторые) все же были открыты, и в них была душистая туалетная вода (одеколон весь выпили). Мы ходили в аптеку на Гейслеровского против Лахтинской и купили несколько флаконов туалетной воды. А отец лежал и

*Пискаревское кладбище  
(фрагмент)*

*Мать Д. С. Лихачева  
В. С. Лихачева  
у могилы отца*



стонал от боли. Впрочем, стонал он мало, он был очень терилил. Умер он первого марта утром, около восьми часов. Он лежал на диване в маминой комнате (в последние дни он боялся оставаться один, боялся марта месяца), и ему было совсем плохо, когда я к нему пришел рано утром. Рядом с ним в темноте горел маленький электрический фонарик — горел от звонковых батарей. Отец время от времени поднимался, опускал руку на батареи, и огонь крохотной лампочки то тух, то вновь загорался. Потом я ушел допить свой кофе. Он постучал в стенку. Когда я вернулся, ему было совсем плохо. Тем не менее он поднялся, чтобы пойти в уборную, и я не мог уговорить его лежать. Он едва дошел и едва вернулся. Сходить в банку он не хотел. Он только повторял: «Царица небесная!» Дети в соседней комнате не понимали, что девочка их умирает. Он вздохнул в последний раз. Я закрыл ему глаза старыми большими рублями XVIII века — единственной памятью от его матери (Прасковии Алексеевны — она умерла, когда отцу было пять лет). Из груди трупа вырвался вздох: это выходил воздух из легких.

Страшное продолжалось и потом. Как хоронить? Надо было отдать несколько буханок хлеба за могилу. Гробы не делали вообще, а могилами торговали. В промерзшей земле трудно было копать могилы для новых и новых трупов тысяч умиравших. И могильщики торговали могилами уже «использованными»: хоронили в могиле, потом вырывали из нее покойника и хоронили второго, потом третьего, четвертого и т. д., а первых выбрасывали в общую могилу. Так похоронили дядю Васю (брата моего отца), а весною не нашли и той ямы, в которой он на день или на два нашел себе «вечное успокоение». Отдать хлеб казалось нам страшным. Мы сделали так же, как и все. Омыли отца туалетной водой, зашили в простыни, обвязали белыми веревками (не пеньковые, а какие-то другие) и стали хлопотать о свидетельстве о смерти. В нашей поликлинике на углу Каменноостровского и реки Карповки внизу стояли столики, за ними сидели женщины, отбирали паспорта умерших и выдавали свидетельства о смерти. К столикам были длинные очереди. Диагноз «от голода» они не записывали, а придумывали что-нибудь другое. Таков был им приказ! Отцу тоже записали какую-то болезнь и, не видев его, выдали свиде-

тельство. Очередь подвигалась быстро, тем не менее она не уменьшалась...

Я, Зина, Тамара вынесли труп отца с пятого этажа, положили на двое детских саночек, соединенных куском фанеры, привязали отца к санкам белыми веревками и повезли к Народному дому. Здесь, в саду Народного дома, на месте летней эстрады, где любил бывать летом отец, его положили среди тысяч других трупов, тоже зашитых в простыни или вовсе не зашитых, одетых и голых. Это был морг. Отпевали мы отца перед тем во Владимирском соборе. Горсть земли всыпали в простыню — одну за него, другую по просьбе какой-то женщины, отпевавшей своего умершего неизвестно где сына. Так мы его предали земле. В морг время от времени приезжали машины, грузили трупы штабелями и везли на Новодеревенское кладбище. Там в общей могиле он и лежит, в какой — не знаем.

Свидетельство о смерти отца от 2 марта. «Хоронили» мы его числа третьего-четвертого марта.

Помню, как подъехала к моргу машина в то время, когда мы привезли отца. Мы просили, чтобы отца погрузили на машину сразу же, но рабочие просили денег, которых у нас в этот момент не было. Мы боялись, что, пока отец лежит, его разденут, простыни срежут, золотые зубы выломают. Машина не взяла отца...

Впоследствии я несколько раз видел, как проезжали по улицам машины с умершими. Эти машины, но уже с хлебом и пайковыми продуктами, были единственными машинами, которые ходили по нашему притихшему городу. Трупы грузили на машины «с верхом». Чтобы больше могло уместиться трупов, часть из них у бортов ставили стоймя: так грузили когда-то непиленые дрова. Машина, которую я запомнил, была нагружена трупами, оледеневшими в самых фантастических положениях. Они, казалось, застыли, когда ораторствовали, кричали, гримасничали, скакали. Поднятые руки, открытые стеклянные глаза. Некоторые из трупов голые. Мне запомнился труп женщины. Она была голая, коричневая, худая, стояла стояком в машине, поддерживая другие трупы, не давая им скатиться с машины. Машина неслась полным ходом, и волосы женщины развевались по ветру, а трупы за ее спиной скакали, подпрыгивали на ухабах. Женщина ораторствовала, призывала, размахивала руками: ужас-

ный, оскверненный труп с остекленевшими открытыми глазами!

Я не плакал об отце. Люди тогда вообще не плакали. Но пока был жив отец, как бы он слаб ни был, я всегда чувствовал в нем какую-то защиту. Он мне всегда был отец, даже тогда, когдассорился с ним, был на него сердит, я всегда чувствовал в нем человека более сильно-го. Со смертью отца я почувствовал страх перед жизнью. Что будет с нами? Хотя отец ничего уже давно не мог сделать, не мог даже придумать выхода из положения, я чувствовал себя всегда вторым после него. Теперь я почувствовал себя первым, ответственным за жизнь се-мьи в еще большей мере, чем раньше: Зины, детей, мамы. Комната отца стояла пустая, пуст был его маленький красный диван, на котором он спал. Осиротела мебель, которую он заботливо покупал когда-то для семьи.

Еще за два, за три года до смерти он отложил деньги на поминки для своих сослуживцев. Он говорил мне, чтобы непременно повеселились после его смерти его прия-тели, и вспоминал веселые похороны кого-то из своих типографских друзей. Отца любили за его темпераментное веселье, за горячий нрав. О нем ходило много рассказов, многие из которых я услышал уже после войны. А здесь он умер — и никто не знал о его смерти, кроме нас да нескольких равнодушных, измученных людей, отобрав-ших его паспорт, выдавших свидетельство о смерти, и ра-бочих, отказавшихся поднять его труп в машину.

Потом уже, когда мы переехали в Казань, мне часто казалось, что я вижу спину отца или его фуражку на ком-либо из прохожих. Он и до сих пор часто снится мне, особенно перед неприятностями. Он меня жалеет, и мне до слез жаль его. Во сне я о нем плачу, обнимаю его и прижимаю к себе. В марте я еще имел обледенелое сер-дце, оно оттаяло в Казани, где я особенно часто думал об отце и понял его...

\* \* \*

Снова перерыв в моих писаниях. Как-то тяжело при-ниматься за описание новых и новых смертей.

Умер Александр Алексеевич Макаров, Зинин отец. Раза два Зина добиралась до него пешком, когда он еще был жив. В последний раз она была у него, когда его уже не было в живых. Соседи сказали, что в последние дни он не хотел и перестал есть. В буфете у него нашлась плитка

шоколада и еще что-то из еды. Видно, берег для последнего...

Умер мой дядя Вася. В его семье все перессорились и ели по своим карточкам. Ему не хватало, ходить получать хлеб он уже не мог. Он умер в одной комнате с дочерью и женой. Те остались живы, он был с ними в ссоре. Говорят, перед смертью он плохо понимал, что происходит, бранился. Могилы его нет, как нет и других могил.

В марте стал действовать стационар для дистрофиков в Доме ученых. Преимущество этого стационара было то, что туда брали без продуктовых карточек. Карточки оставались для семьи. Мне дали туда отношение из Института литературы Калаушин и Мануйлов. Зина провожала меня с санками. На санках была постель: подушки, одеяло. Уходить было страшно: начались обстрелы, бомбежки, очень усилились пожары, не было еще телефонов. Хотя уйти надо было только на две недели, но всякое могло случиться. Вдруг эта разлука навсегда? В Доме ученых комнаты для дистрофиков немного отапливались, но все равно холодно было очень. Комнаты помещались наверху, а ходить есть надо было вниз, в столовую, и это движение вверх и вниз по темной лестнице очень утомляло. Ели в темной столовой при коптилках. Что было налито в тарелках, мы не видели. Смутно видели только тарелки и что-то в них налитое или положенное. Еда была питательная. Только в Доме ученых я понял, что значит, когда хочется есть. Есть хотелось так, как никогда: это оживало тело! И особенно хотелось есть после еды. В перерыве между едой лежал в кровати под одеялами и мучительно ждал новой еды, шел, ел и снова начинал ждать еды.

Несколько раз были обстрелы. Снаряды рвались на Неве, на льду. Из окон стационара хорошо была видна Нева, так как зеркальные окна были целы. Удивительно, что большие цельные зеркальные стекла разбивались при обстреле не так легко, как простые.

Однажды мне пришлось переходить Неву, чтобы попасть зачем-то в Пушкинский Дом. Я видел убитую при обстреле женщину. Она лежала тут же, у тропинки, полу занесенная снегом, с рассыпавшимися волосами. Лежала она уже несколько дней, и кровь ее была черная. Несколько человек в стационаре умирали: у них была необрати-

мая стадия дистрофии. Они не хотели есть, лежали черные, губы тонкие, как бумага, обтягивали и обнажали зубы. Некоторые ученые крали или подделывали талончики, по которым нам отпускали завтрак, обед и ужин. Подделать эти талончики было не так уж трудно. На этом «деле» поймали доктора наук, кажется, астронома или химика.

Наконец короткий срок пребывания в стационаре кончился. Зина пришла за мной с санками. Мы везли их по лужам: наступала весна.

Дома я начал не только собирать материал по средневековой поэтике (тетради у меня сохранились), но и писать. Дело в том, что М. А. Тиханову вызывали в Смольный и предложили ей организовать бригаду для скорейшего написания книги об обороне русских городов. М. А. Тиханова предложила меня в компаньоны. С ней вместе мы отправились в Смольный (это путешествие было для меня нелегким). От площади Смольного до главного здания все было закрыто маскировочной сеткой. В Смольном густо пахло столовой. Люди имели сытый вид. Нас приняла женщина (я забыл ее фамилию). Она была полной, здоровой. А у меня дрожали ноги от подъема по лестнице. Книгу она заказала нам с каким-то феноменально быстрым сроком. Сказала, что писатели пишут на ту же тему, но у них работа идет медленно, а ей (!) хочется, чтобы она была сделана быстро. Мы согласились, и в мае наша книжка «Оборона древнерусских городов» была готова. Она вышла осенью 1942 года. Я писал в ней главы «Азов — город крепкий», «Псков» и еще что-то. Больше половины глав — мои. У М. А. Тихановой там написана глава о Троице-Сергиевой лавре, введение и заключение. Сдавали мы рукопись в Госполитиздат — Петерсону (впоследствии умер под арестом — по «ленинградскому делу»). Писалось, помню, хорошо — дистрофия на работе мозга еще не сказывалась.

Весной стала выходить газета (не каждый день) «Ленинградская правда» — в уменьшенном формате. Газеты добывались только случайно. Из газет я узнал о гибели Павловского дворца и Волотовской церкви. Гибель обоих памятников была описана, хотя сами они не были названы. Павловск был разбит нашей авиабомбой (там был немецкий штаб), а в Волотове находился наш артил-

лерийский наблюдательный пункт, и церковь снесла немецкая артиллериya. Впоследствии, когда я в 1944 году был в Новгороде, я заметил, что причина гибели Николы Липного была такой же — там находились наши войска. В книге «Памятники русской культуры, разрушенные фашистами» (эта книга есть у нас дома — она потом была почему-то запрещена) у Николы Липного ясно видны окопы: это наши. Гибель ленинградских дворцов (в частности Елагина, который сгорел на наших глазах от времянок квартировавших там частей), Новгорода, Пскова подействовала на меня угнетающе.

Дома стало заметно лучше. Мама (бабушка) и Зина ходили к спекулянту Роньке, у которого за золото получали масло, рис и еще что-то. Масло нас очень поддержало. Бабушка давала нам часть вымененных продуктов, подкармливала детей. Мы с детьми разучивали стихи — «Что пишет царь великий в Петербурге городке» (Пушкина). Дети тараторили их с удовольствием, а мне в них очень нравилось прощение врагов Петром. И войны были другие, и государственные деятели были другие.

Дошли слухи, что немцы заняли Тихвин. Толпа на Большом проспекте разгромила хлебный магазин. Появились новые милиционеры: сытые, откуда-то из Вологды и других мест.

Я встретил Колю Гурьева, он помогал доставлять хлеб в хлебный магазин, и за это ему давали хлеб сверх карточек. Вскоре он выехал из Ленинграда дорогой смерти и погиб с тысячами других. Говорят, он вышел из поезда и пропал. Когда умерла его мать, братья, жена — не знаю.

Тамара Михайлова отправилась на рытье окопов около местечка Пери. Она была там долго. По учреждениям стали выдавать семена для огородов. Помню, нам выдали капельку семян редиски. Мы устроили огород в квартире: перевернули обеденный стол вверх ножками, ножки отвинтили, насыпали земли из сквера на Лахтинской, поставили у окна и посадили редиску. Потом ели траву этой редиски как салат: для витаминов. В мае мы уже ели лебеду и удивлялись, какая это вкусная трава. Лебеду испокон веку ела русская голодающая деревня, а наше положение было значительно хуже. Поэтому, видно, и лебеда нам нравилась. Люди выкапывали в скверах корни одуванчиков, сдирали дубовую кору, чтобы остав-

новить кровь из десен (сколько погибло дубов в Ленинграде!), ели почки листьев, варили месиво из травы. Чего только не делали! Но удивительно — эпидемии весной не было. Были только дистрофические поносы, потрепавшие почти всех (мы убереглись).

Мне выдали талоны на усиленное питание. Это усиленное питание давалось в академической столовой (она была там же, где и сейчас, — рядом с Институтом этнографии). Два раза в день надо было ходить есть. Многие так и не уходили, сидели тут же, на набережной, в столовой, чтобы не тратить сил. Помню, что давали глюкозу в кусках. После того как её съешь, сил сразу прибывало. Это было удивительно, почти чудо. К тому времени стали ходить некоторые трамваи. Топливо для электростанций бралось из разбираемых деревянных домов (так была разобрана Новая Деревня). Трамвай ходил по Большому проспекту Петроградской стороны, по 1-й линии, по Университетской набережной, через Дворцовый мост и по Невскому. Другие линии еще не действовали. Однажды, сядясь в трамвай, я страшно разбрелся. Я уже заносил ногу, чтобы стать на подножку, когда трамвай тронулся. Сесть мне было трудно, но так как трамваи ходили очень редко, то хотелось. Я не выпускал из рук поручня, а трамвай набирал скорость. Наконец я сделал попытку вскочить на ходу, но сил у меня не было, я упал, и трамвай меня поволок. Сразу наступила страшная слабость, и я долго (несколько недель) с трудом мог передвигать ноги: колени дрожали.

В столовой я, встречая знакомые лица, каждый раз думал: «Этот жив». Люди в столовой встречались со словами: «Вы живы! Как я рад!» С тревогой узнавали друг у друга: такой-то умер, такой-то уехал. Люди пересчитывали друг друга, считали оставшихся, как на поверке в лагере.

Но тут случилось непредвиденное: меня вызвали в милицию, в военный стол, но не по военным делам. Начались допросы, требования; блокадный Ленинград перекликался с северными Соловками. Меня вызывали несколько раз на Староневский, туда, где когда-то помещался Сиротский дом. Когда угрозы не помогли (а они были серьезные), меня вызвали в милицию на Петрозаводской улице, перечеркнули тушью ленинградскую прописку и предложили со всей семьей выехать в несколько

дней. Следователь провожал меня на площадке милиции, смотрел, как я ухожу, и угрожающе кричал: «Так не согласны?» Не буду описывать всех этих допросов, угроз, «заманчивых» предложений и обещаний и пр.

Вряд ли кто-нибудь из читателей «Обороны древнерусских городов» предполагал, в каком положении находится их автор. И вряд ли думал о различии в положении осажденных. Мы были осажденными вдвое: двойным кольцом — внутри и снаружи. А читали нашу книгу в окопах под Ленинградом. Об этом мне рассказывал Аркаша, находившийся на Ораниенбаумском пятаке.

Помню особенно неприятное «посещение». Я выходил из квартиры со связкой книжек (книги можно было уже продавать в Доме книги: мы тогда стали продавать все, что могли) и встретил следователя; он вызвал меня на Староневский, так как по повесткам я не являлся. Добирался я до Староневского долго. Провел там целый день, и дома очень тревожились. Это был сильный, решительный нажим на меня. Следователь разыграл сцену, будто я арестован: вызвал красноармейца, и тот повел меня в подвал. К счастью, я не верил угрозам и решения своего не менял. Тому, кто пережил ужасы блокады, ничего уже не было страшно. Запугать нас было трудно.

Мы начали спешно продавать все, что могли. Я решил: мы должны жить, а все остальное наживем. Мы прикрепляли объявления о продаже вещей к заборам. К нам беспрерывно ходили покупатели. Покупали по дешевке люстры, ковры, бронзовый письменный прибор, малахитовые шкатулки, кожаные кресла, диван, отцовское зимнее пальто и шапку, плохонькие картины, половую лампу со столешницей из оникса, книги, открытки с видами городов — все-все, что было накоплено еще до революции отцом и матерью. Только часть книг (полное собрание русских летописей — отдельные тома и еще некоторые) я отвез в Пушкинский Дом на хранение. Наняли для этого дворника из дома напротив — дядю Ваню. Он за буханку хлеба отвез книги на тележке.

Из-за кожаных кресел произошел даже скандал на парадной лестнице. Купила их за 600 рублей какая-то незнакомая партийная дама и оставила нам задаток, а потом пришел покупатель, который дал подороже. Мы продали второму покупателю, а партийной даме решили

вернуть задаток. Но партийная дама пришла как раз тогда, когда кресла выносили. Она подняла такой крик и визг, что и новый покупатель, и мы отступились. Мы встречали эту партийную даму потом, когда вернулись в Ленинград. Мы могли бы отобрать у нее кресла, вернув деньги, так как тогда (в 1944—1945 годах) вышел декрет, по которому купленное в блокаду по грабительским ценам должно было возвращаться. Но... зная ее визгливый характер, мы не стали требовать назад наших памятных кресел (в них очень любил сидеть мой отец).

Картину «Зима» я видел затем в 1944 году в комиссионном магазине на Садовой, около Публичной библиотеки. Рама была подновлена, сама картина подлакирована, и на ней выведена огромная размашистая подпись: «Кржицкий». Говорят, в блокаду существовала целая артель, которая подновляла старые картины, ставила на них подписи знаменитых художников и снова пускала в продажу. На пустых желудках ленинградцев составлялись целые состояния. Наш юрист и заместитель директора в институте Шаргородский советовал мне тогда забрать картину назад через суд, но и в этом я не стал этого делать. Хотя картина была мне памятна с детства, я устал, мне не хотелось судиться. На картине был изображен закат зимой. Санный путь уходит до синего горизонта, полузакрытого снежными тучами. На переднем плане изба с бочкой над дверью — это кабак. У кабака несколько саней с впряженными лошадьми: ожидают мужиков, ушедших в кабак. В картине есть настроение, довольно пессимистическое...

Передаю перо маме.

Когда мы решили ехать — а без денег ехать нельзя, — стали продавать вещи. Было такое чувство, что мы в Ленинград уже никогда не вернемся и все пропадет, а поэтому нужно продать все, хоть бы за бесценок. Мы давали объявления (развешивали на заборах) о продаже вещей, и к нам ходили люди и покупали вещи, как в магазине. Если в городе был обстрел, то к нам никто не приходил. Как-то пришел молодой человек и купил у меня письменный бронзовый прибор за 150 рублей, и тут же стояли 2 бутылки уксуса, и он их купил тоже за 150 рублей. Так ценились продукты, даже уксус! Я купила несколько бутылок уксуса в начале блокады. Магазины были пустые, можно было купить только горчицу, уксус,

соду — вот я и купила. Уксус и горчица нам помогли есть струйку из столярного клея. Для вкуса при варке я в него клала траву сельдерей, которая у меня сушилась для зимы, так как коренья раньше зимой не продавали. Я помню некоторые цены, по которым продали наши вещи, или, вернее, отца и матери Мити. Шифоньер ореховый зеркальный — 1000 рублей. Туалет — тоже за столько же. Это очень хорошо, а остальные вещи продали гораздо хуже. У дедушки в комнате была хорошенская ковровая кушетка. Ее продали за продукты: 300 граммов конфет соевых, килограмм риса, полкило сахара. Два кабинетных кресла, что у папы в кабинете (только лучшие — мягче), мы продали по 300 рублей. Кушетку плюшевую — за 450 руб., а потом купили хуже за 1700 рублей. В общем как будто мы выручили от продажи имущества тысяч девять-десять. Когда приехали в Казань, этих денег хватило месяца на три. На часть денег мы купили картошку у знакомого Митиного брата Басевича. Он нам продал шесть мешков мелкой картошки, и мы заплатили 2000 рублей. Когда мы уезжали, то взяли только мягкие вещи, сняли со столов. Удивительно, как не пропали наши тюки. Мы с Тамарой разыскивали их среди других подобных тюков, сваленных в поле на противоположном берегу Ладожского озера. Как мы их таскали и грузили в товарные вагоны, в которых отправлялись в Казань!

Оставил место Зине и продолжаю писать.

Связь с «Большой землей» постепенно возобновилась, возобновилась и связь друг с другом. Пришел запрос от Миши — живы ли мы. Он действовал через какое-то свое учреждение. Пришел оттуда человек и обещал дать машину, для того чтобы перевезти вещи на вокзал. Это было большое дело! Мише сообщили о смерти дедушки. В главном зале Академии наук шла запись на эвакуацию. Там встретился я с Дмитрием Павловичем Калистовым: он тоже собирался ехать. Мы записались все, записали и Тамару Сергеевну Михайлову (няню). Она тогда уже работала в Институте литературы (ее взял М. М. Калашин препаратором). Вещей можно было брать ограниченное количество (забыл, сколько килограммов) и только в мягкой таре, то есть в мешках. Людей отправляли с Финляндского вокзала до станции Борисова Грива, а

оттуда Ладожским озером на пароходах и барках. Город постепенно пустел больше и больше. Милиция нас торопила, а эшелон откладывался. Подгоняемый милицией, я ходил к прокурору и доказывал незаконность высылки. Прокурор помещался на Пантелеймоновской. Все это взвинчивало нервы страшно. К тому же мы встретили на Большом проспекте Любочку, жену моего двоюродного брата Шуры (Александра Петровича) Кудрявцева. Шура был уже доктором технических наук — специалистом по какой-то редкой морской специальности (по образованию он был инженер-электрик). Блокаду они кое-как прожили (Шура был жаден, предусмотрителен и запаслив), а весной он стал ходить обедать в Дом ученых и там в столовой «разговорился»: говорил о том, что ученые деквалифицируются. Его вызвали, как и меня, запугивали этим разговором о деквалификации и предложили «служить». Кажется, он смалодушествовал, согласился, а затем явился в свою старую квартиру, поврежденную бомбой, в которой они уже не жили, и там повесился. Следователь, запугавший его, очень испугался сам, так как Шура был специалист военный и, следовательно, человек нужный, приходил к Любочке на дом, уговаривал ее не говорить и прочее. Вот как ценилась жизнь защитников города.

Перед отъездом, в мае и в июне, очень усилились обстрелы. Однажды вся наша квартира сотряслась, а затем раздался грохот, и мы слышали, как на улице посыпались стекла. Звук падающих стекол — очень характерный звук ленинградских обстрелов. Улицы сплошь были засыпаны мелким стеклом, и в галошах ходить было совершенно невозможно: резались. В этот раз разрыв был очень сильный. Бабушка с криком собрала детей и бросилась с ними в коридор. Но было ясно, что разрыв был слышен, значит, в нас уже не попало. Потом бабушка побежала вниз по лестнице. Второго разрыва не было, но этот единственный тяжелый снаряд наделал-таки бед. Он попал на Большом проспекте в двухэтажный домик на углу улицы Ленина. Этого дома сейчас нет. Внизу была булочная. Снаряд прошиб весь дом сверху донизу и разорвался в булочной. Погибли несколько десятков людей. Все было залито кровью.

Когда мы ходили по улице, то обычно выбирали ту сторону, которая была со стороны обстрела, — западную,

но во время обстрела не прятались. Ясно был слышен немецкий выстрел, а затем на счете 11 — разрыв. Когда я слышал разрыв, я всегда считал и, сосчитав до 11-ти, молился за тех, кто погиб от разрыва. Жене заведующей столовой Сергейчука снесло голову: она ехала в трамвае. В трамваях ехать было особенно опасно. Ленинградские старые трамвайные вагоны были со скамейками вдоль окон. Разрывом выбивало стекла и обезглавливало сидящих. Когда я впоследствии вернулся в Ленинград (приехал из Казани в командировку в 1944 году), я много слышал рассказов о таких трамвайных трагедиях. А против Биржи труда еще в 1945 году стоял трамвай с начисто выбитыми стеклами. Снаряд попал в рельсы под него. Рельсы вздыбились, трамвай покосился. Так он стоял довольно долго.

Ленинградские обстрелы хорошо описаны в воспоминаниях художницы О. А. Остроумовой-Лебедевой.

Ко времени отъезда мы почти все уже продали. Оставались непроданными некоторые книги и детские игрушки. Зина сшила черненькие заплечные мешки для девочек. В эти мешки мы должны были положить им их куклы (самые любимые), а остальные куклы — отдать в детский сад (открылся внизу нашего дома). Что за трагедия была, когда к нам пришла заведующая детским садом и стала выносить куклы! Дети плакали, бросались на колени, бежали по лестнице за этой женщиной и долго не могли успокоиться.

Приходил Вася Макаров (брат Зины), принес нам однажды черный творог из складов на Кушелевке. Эти склады сгорели еще в 1939 году во время финской кампании (говорят, их поджег финский самолет). Склады были продовольственные, и вот народ весной 1942 года стал раскапывать завалы и извлекать из-под угольев остатки провизии. Творог Вася купил за 200 рублей: это была черная лоснящаяся земля, масса, пахнувшая землей и замазывавшая до боли горло. После нее болел живот (единственный раз, когда у меня во время войны болел живот). Вася купил у нас кабинет (без мягких кресел) и еще что-то. Мы просили его продать остатки книг.

Броню на квартиру я сдал в ЖАКТ, но печати на квартиру наложить не удалось: не было времени. Нельзя было задерживать машину. Мягкие наши тюки мы отправили на машине на вокзал — принимали багаж на

Московском вокзале. Затем мы переночевали в пустой квартире и на следующий день с самыми небольшими заплечными мешками отправились на Финляндский вокзал. Погода была хорошая. Это было 24 июня. Мы покидали нашу квартиру с таким чувством, точно никогда уже в нее не вернемся. Казалось невозможным вернуться в город, в котором мы видели кругом столько ужасов. Может быть поэтому мы даже и не опечатали квартиру, не очень об этом заботились. Вася нас провожал. Дети шли в сереньких пальтишках (они сняты в них в Ботаническом саду осенью 1941 году с заплечными мешками). Тамара, купившая перед тем швейную машину у бабушки Обновленской, несла ее, завернутой в одеяло, но без крышки (твёрдая тара!). Мы ехали в трамвае и в последний раз смотрели на многострадальный город.

На Финляндском вокзале нас в первый раз сыто кормили: дали пшенной каши с большим куском колбасы. Нас подкрепляли к дороге. Дорога предстояла тяжелая, и слабые ленинградцы погибали на ней тысячами. Мы поели на воздухе, затем нас стали сажать в дачные вагоны. Тесно было страшно. Вместе с нами очутился и Стратановский. Он потерял жену (она умерла сравнительно рано, зимой) и был один. С растерянным видом он упрашивал пустить его к нам в вагон. Поезд шел убийственно медленно, долго стоял на станциях. Часть людей сидела, часть стояла спрессованная, тамбуры были все забиты.

Ночью, в белую ночь, мы приехали в Борисову Гриву. Нам выдали похлебку: она была жирная, и ее было много. Мы жадно ели эту настоящую пищу. Нас кусали комары, как живых, мы видели природу. Это было прекрасно. Не спали. Я разговаривал с гербаристом Борисовым, умершим потом в дороге от дистрофического поноса. Дмитрий Павлович Калистов, Олимпиада Васильевна, сестра Олимпиады Васильевны Ляля и Бобик оказались в том же поезде, что и мы. Дмитрий Павлович шутил: «Хотел бы я видеть того Бориса, у которого такая грива». Мы решили держаться все вместе.

В Борисову Гриву доставили наш багаж. Мы сами разыскивали по приметам наши тюки и складывали их вместе под открытым небом. Затем началась погрузка на пароход. На пароход пропускали только один раз, после проверки паспорта, но что можно было захватить за один

раз нашими ослабевшими руками? Мы с Дмитрием Павловичем, Зина и Тамара едва уговорили стражников, проверявших наши документы, пропустить нас еще раз и ходили раза по три, таская наши тюки по молу до парохода. Когда мы вернулись к пароходу с последними тюками, пароход уже отходил, а на нем были дети, бабушка, Зина, Тамара. Мы с Дмитрием Павловичем прыгнули, рискуя упасть в воду, но благополучно оказались на борту перегруженного до крайности парохода. Если бы прошла еще минута, мы бы остались на берегу. Бог знает, когда бы тогда снова нашли друг друга! Как волновалась Зина — и передать не могу.

День был ясный, и мы плыли на самом виду у самолетов, если бы они появились, но, слава Богу, их не было. Только пристав к тому берегу, мы почувствовали себя в относительной безопасности, но тут началась воздушная тревога. Мигом опустела пристань, но это были только разведчики; немцы не бомбили.

Нам отвели избу, в которой мы должны были ночевать. Но не спали мы и вторую ночь. В избе жили крестьяне. Один из мальчишек хозяев страшно кашлял, захлебывался. По-видимому, у него был коклюш. Бабушка не велела ему подходить, он обиделся, указывал пальцем на бабушку и говорил: «Она говорит, что у меня «кашлюш»!»

Нам дали хлеба на несколько дней, мы снова ели из наших алюминиевых плошек и опять много, хотя чувство голода не проходило ни на минуту.

Помню, как мы снова искали наши тюки. Весь багаж был сложен на песке плотно друг к другу. Мы все (сотни пассажиров) ходили вокруг этих сложенных вещей и разыскивали свои тюки с бирками, на которых были написаны наши фамилии и название учреждения. Мы искали долго, так как тюков у всех было много и народу тоже было очень много, но ничего не пропало. Затем нас стали грузить в товарные вагоны с нарами. Досок для нар не хватало, и надо было их достать. Доски мы с Дмитрием Павловичем и Стратановским достали, но все же их не хватало; в нарах были большие щели, спать в пути было очень неудобно. Мы спали наверху, внизу Тамара и Стратановский. С другой стороны теплушкы, наверху, спали Калистовы. Тюки наши были сложены под нарь и посреди теплушкы. Эшелон тронулся. Первая большая

остановка была в Тихвине. Мы снова ели там кашу с большим количеством масла и успели даже сходить осмотреть город, в котором жили с Дмитрием Павловичем в 1932 году. Город пострадал отчаянно. В нем не было жителей, но странно, что статуя Ленина против гостиного двора на площади была немцами не тронута.

По дороге мы покупали у жителей дикий лук, на станциях ходили за кипятком, за пайком. Всюду нас обильно кормили, а мы ели, ели и не могли насытиться.

В пути было много трудного, о чем уж не стану рассказывать. И в Казани было нелегко. Но все это — другой рассказ и другая «эпоха». О ней следует рассказать особо.

Были ли ленинградцы героями? Нет, это не то: они были мучениками...

Нева. 1991. № 1.

\* \* \*

Я думаю, что, достигнув восьмидесяти лет, человек должен поблагодарить Жизнь. У меня, во всяком случае, есть за что ее благодарить. И за счастливое детство, и за хорошую школу с хорошими учителями. И за мою родительскую семью, заботившуюся о нас — детях. И за то, что казалось мне несчастьем, но что принесло мне много житейского опыта и в конечном счете избавило от худших несчастий 30-х годов. И за работу корректором — особенно в Издательстве Академии наук, где я обрел и свою семью — верную и заботливую жену, давшую мне двух любимых детей.

И Пушкинский Дом, в который я впервые пришел заниматься шестьдесят лет назад — в 1927 году, а работать постоянно стал в нем пятьдесят лет назад.

Пятьдесят лет в Пушкинском Доме, пятьдесят лет «в строю литературоведческой науки», в которой я еще застал В. М. Жирмунского, Б. М. Эйхенбаума, Г. А. Гуковского, Б. В. Томашевского, Л. Б. Модзалевского, старых музеиных работников и старых библиотекарей. А в Отделе древнерусской литературы я успел учиться у своих поздних учителей — у В. П. Адриановой-Перетц, у А. С. Орлова, В. Л. Комаровича и у своих учеников по историческому факультету университета.

А из своего заграничного опыта я с особенной благодарностью вспоминаю заседание Международной текстологической комиссии под председательством Конрада Гурского.

Сколько было хорошего при всем бессильном стремлении многих и многих причинить мне дурное!

Жизнь! А в какое необыкновенное время я «посетил» (Тютчев) свою страну. Я застал все роковые ее годы, видел множество людей всех возрастов, всех социальных слоев, всех степеней образования, всех психологических типов: и тех, кого мог бы назвать святыми, и тех, хуже которых трудно себе представить: прямых убийц тысяч и тысяч людей. Я видел и вершителей судеб, и их жертв. И жизнь повела меня по путям, которые шли ближе к жертвам, чем к их губителям. Что-то я смог сделать хорошее другим. Что-то я смог сделать и для Древней Руси. В чем-то осуществились мои мечты. Многое еще осуществляется в будущем.

*17 июля 1987 г. Волгоград.*

Заметки и наблюдения. Л. 1989.